Мое чужое сердце

Автор:
Кэтрин Хайд

Мое чужое сердце

Кэтрин Райан Хайд

Спешите делать добро

Виде девятнадцать лет, и она серьезно больна. Каждый из нас, засыпая, знает, что впереди новый день. Вида всю свою недолгую жизнь никогда не была уверена, что очередной день наступит. Ее единственный шанс на спасение – не чудо-таблетка, а новое сердце. Но цена за выздоровление слишком велика: Вида будет жить, только если умрет кто-то другой.

Девушка получает столь долгожданный подарок, но рада ли она ему? Вида не знает, как ей быть дальше, как использовать драгоценную возможность начать все заново. Теперь ей предстоит то, чего она не умеет и к чему никогда не готовилась, – жить.

Кэтрин Райан Хайд

Мое чужое сердце

В память о моей племяннице Эмили, которую подвело сердце, и во здравие моей племянницы Сары, которой был дан удивительный шанс выжить.

Catherine Ryan Hyde

Second Hand Heart

* * *

This edition published by arrangement with Taryn Fagerness Agency and Synopsis Literary Agency.

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Copyright © 2010 Catherine Ryan Hyde

Фото автора © Charlotte Alexander

© Мисюченко В., перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Э“», 2017

Благодарности

В первую очередь хочу поблагодарить чудесную команду кардио- и кардиоторакальных хирургов, докторов Стивена Фреялденховена, Дэвида Канвассера и Люка Фэйбера, за их щедрый вклад в эту книгу, который состоял в том, что они не только следили за медицинской точностью рукописи, но и позволили мне воочию наблюдать за проведением хирургической операции на

«открытом сердце». Такие возможности появляются в жизни писателя не каждый день, и я глубоко признательна.

Большое спасибо также Джону Цинке, доктору медицины, и Нэнси Цинке, медицинской сестре, бакалавру сестринского дела, за то, что они рецензировали первоначальную рукопись, и за то, что замолвили за меня словечко вышеназванным хирургам.

Еще хочу отметить, что вышеприведенные подробности довольно далеки от вымышленных научных взглядов моего персонажа ученой-исследовательницы Конни Мацуко. Я прочла и изучила множество работ невролога Кэндес Перт и психонейроиммунолога Пола Пирсолла: они помогли мне при создании полностью выдуманного образа Конни Мацуко и ее воззрений. Тем не менее очень хочу внести ясность: Конни Мацуко – это не Кэндис Перт и не Пол Пирсолл, я сотворила ее на основе собственной трактовки таких научных трудов. Тем, кому захочется оспорить ее теорию клеточной памяти, следует отчетливо понимать, что исходит она только от меня и ни от кого другого.

Наконец, хочу поблагодарить мою подругу Ли Замлох за позволение воспользоваться ее небольшим, но богатым опытом, почерпнутым из рассказа о том, как Ли вместе с дочерью ждали донорское сердце, но так и не дождались. Такие вот небольшие вкрапления правды приближают художественный вымысел к реальности. Я сожалею, что тебе пришлось пережить это, но воздаю должное тому великодушию, с каким ты позволила воспользоваться своей историей.

Вида

О моей близкой смерти

Вероятно, я скоро умру. Может быть, сегодня ночью во сне. Может, на следующих выходных. Или во вторник через три недели. Тут трудно сказать.

Думаю, вам это кажется чем-то ужасным. Кто бы вы ни были. Кто бы ни стал читать это в один прекрасный день. Но для меня в этом нет ничего ужасного.

Я просто привыкла. Почти двадцать лет живу с этим. С той самой ночи, когда родилась.

Не хочу рушить ваш мир до основания, но и вы тоже умрете. Наверное, не так скоро, как я, но тут никогда не знаешь наверняка. Понимаете, в этом вся штука. Мы не знаем. Ни один из нас. Я могу получить донорское сердце и жить потом долго и счастливо, а вы, может, прямо завтра попадете под автобус. Или даже сегодня, черт побери.

Вот она, разница между вами и мной: вы думаете, что ни за что не умрете в ближайшее время. Хотя, может, и ошибаетесь.

Я же знаю, что непременно умру.

Иногда я пытаюсь представить, что каждую ночь ложишься спать с мыслью, что обязательно проснешься. Полагаю, полно людей, которые именно так думают. Каждый день. Ну а я понятия не имею, как это – быть таким человеком.

Знаю только, каково быть мною.

О моей матери

Мама назвала меня Вида.

По-моему, глупее имени в мире нет. Но приходится стараться быть терпеливой с матерью. У нее и так проблемы.

Прежде всего, я единственный ребенок. А еще, хотя ей выпало столько же, сколько и мне, маме необходимо привыкать к мысли о том, что она меня потеряет, но ей пока не удалось добиться в этом успеха. По ее словам, это потому, что она – мать, а у меня и вправду нет другого выбора, как верить ей. Самой-то мне откуда знать? Я не мать и никогда ею не стану, если только не

усыновлю кого-нибудь. Моему сердцу ни за что не перенести рождение ребенка.

Мне повезло, что хоть до сегодняшнего дня дотянула.

На тот случай, если вы совсем не знаете испанского, Вида означает «жизнь». Понимаете? Для мамы это еще одно доказательство, что ее ребенок будет жить. И не то чтобы мы были испанцами. Вовсе нет. Но, мне кажется, назвать единственную дочь «Жизнь» или «Живая» немного странно. Даже для нее.

Мама любит поруководить, хотя я не думаю, что она это осознает. Я ей и не говорю, потому что у нее и так куча проблем, а я не уверена, нужно ли добавлять еще и это поверх всего остального.

Но нашим маленьким мирком она правит очень твердо.

Это забавно, потому что… Ну, объяснить, почему смешно, трудно. Но если бы вы увидели маму, то сразу бы поняли. У нее рост около четырех футов и десяти дюймов (она уверяет, что пять футов[1 - Соответственно чуть больше 147 и 152 см. – Здесь и далее примеч. перев.], но это полная ложь), щеки, словно красные яблоки, и широкая улыбка, что делает ее похожей на одного из эльфов в свите Санта-Клауса. Если у Санты есть эльфы-девочки. Короче, по внешнему виду мою мать никак не причислишь к властным особам.

Но она держится молодцом.

О моем по-настоящему добром друге Эстер

Эстер когда-то была в концлагере.

Бухенвальде.

Когда я произношу «Бухенвальд», выходит иначе, чем когда это выговаривает Эстер. Она, хоть и живет в нашей стране уже больше шестидесяти лет, все равно говорит с очень заметным немецким акцентом. У большинства людей акцент уже через несколько лет пропадает, но Эстер все еще от него не

избавилась. Значит, он ей еще зачем-то нужен. Когда она произносит «Бухенвальд», «х» у нее – какой-то замысловато-шипящий (у меня так ни за что не получится, если я попробую, а я пыталась), и во второй части слова звук «в» выходит резким, и никакого мягкого знака нет.

Когда Эстер была в моем возрасте, она находилась в Бухенвальде.

Сейчас она очень старая. Сколько ей, я не знаю. Она не говорит. Но возраст можно предположить, основываясь на том, когда союзники освободили лагеря (я ловко обращаюсь с интернетом, поскольку много времени провожу дома, и это то, что я могу делать, не вызывая ни у кого беспокойства или желания убеждать меня быть осторожнее), потом решить простую арифметическую задачку, и получится, что Эстер должно быть никак не меньше девяноста.

На самом деле она выглядит старше. Так что, мне кажется, она немного покривила душой, говоря, насколько была молода, когда всю ее семью забрали и посадили на поезд.

Это типа как моя мама говорит, что ее рост пять футов, когда в ней всего четыре фута десять дюймов. Думаю, люди так частенько делают.

Но только не я. Я говорю правду. Толком и сама не понимаю, почему.

Эстер подарила мне эту книжку с чистыми страницами. Как раз в ней я и пишу прямо сейчас. Ее вы, должно быть, и держите в руках, если читаете это.

Она сказала, что это дневник, но на вид просто книжка. Обычная переплетенная книжка. Просто на страницах ничего нет. Я прямо-таки возликовала, когда Эстер мне ее подарила, потому что вообразила, что это настоящая книга. Книги я очень люблю. Они моя опора.

Книги очень выручают тех, кому не очень-то многим можно заняться без риска для жизни.

Эстер сказала, если я хочу, чтобы это была настоящая книга, то должна создать ее сама. Мне придется написать собственную книгу. Сложновато, особенно для той, у кого времени не так уж и много. Полагаю, это и есть часть ее замысла.

Эстер считает, никто не в силах сказать тебе, когда ты умрешь.

Она говорила, что за несколько дней до того, как пришли союзники и освободили Бухенвальд, один из лагерных охранников насмехался, обращаясь к ней по-немецки. Когда она вспоминает эту историю (что делает очень часто), то повторяет слова надзирателя. Передать их в точности я не могу. Но в общем, сказанное им переводится примерно так: «Ты сдохнешь здесь, маленькая жидовочка».

Эстер считает, что тот охранник уже мертв. Думаю, она, наверное, права, и эта мысль доставляет удовольствие.

Эстер – наша соседка, живет этажом выше. И она мой лучший друг.

Еще она подарила мне утешительный камень[2 - Worry Stone, буквально: «камень беспокойства» (англ.), но еще древние греки использовали гладко обточенные морскими волнами камни особой формы с выемкой под большой палец как средство утешения. Сейчас его изготавливают из разных камней: поделочных, полудрагоценных и даже драгоценных. Считается, что стоит мягкими, плавными движениями большого пальца потереть бороздку камня, как негативная энергия сразу покидает душу и тело, приходит утешение.].

Об утешительном камне

В самый первый день, как я оказалась в больнице (я имею в виду в настоящий момент, потому что было множество больниц и множество раз), Эстер пришла меня навестить и принесла утешительный камень.

Это какой-то кварц, и он очень гладкий. Размером с грецкий орех, только более плоский. По словам Эстер, она привезла его с собой из самой Германии. Думаю, это означает, что он достался ей после освобождения из лагеря. Потому что вряд ли разрешалось иметь при себе хоть что-то из личных вещей, когда сажали в поезд.

Наверное, проведя несколько лет в концлагере и оказавшись единственной оставшейся в живых из членов очень большой, разветвленной семьи, захочется обрести что-то, способное впитать в себя все тревоги, когда тебе предстоит одной отправиться в новую страну на другом конце света.

Чего я не понимаю, так это того, почему она подарила камень мне. Я его обожаю. Просто не понимаю, почему она его отдала.

Она приехала в то самое первое утро. Едва начались приемные часы. Она была в пальто с большим меховым воротником, а на голове – шарф. Но, насколько мне известно, не очень-то и холодно было на улице.

Эстер показала, что ее беспокойства хватило для того, чтобы на камне образовалось очень гладкое местечко, которое она терла большим пальцем на всем пути до Америки.

Она добиралась на пароходе, и это заняло несколько недель.

Рассказала мне, что в этот камень я смогу поместить все свои беды и тревоги. И, может, от этого даже ямка на твердом камне появится.

Я в ответ сказала что-то вроде: «Вы шутите. Это же всего лишь кожа». И подняла вверх большой палец, чтоб она увидела «всего лишь кожу» на его подушечке.

– Вода всего лишь вода, – сказала Эстер. – Однако вода способна сточить камень.

Я взяла камень в руку и подержала его на ладони. Мне понравилось, что он такой тяжелый, что от него исходит тепло, так как перед этим он пролежал в крепко сжатом кулачке Эстер.

– Мне, наверное, времени не хватит, – произнесла я.

– Или, может быть, хватит, – отозвалась она. – Никому не дано сказать тебе, когда ты умрешь. Умираешь, когда настает конец. Ни на миг раньше. Ни на миг позже. Кто бы что ни говорил. Кто бы чего тебе ни желал.

– Спасибо вам за утешительный камень, – сказала я. – Только я не думаю, что в настоящее время очень беспокоюсь.

– В самом деле? – спросила Эстер.

– Мне так кажется.

– Большинство людей в твоем положении терзались бы беспокойством.

– Наверное, потому, что прежде они никогда не бывали в такой ситуации.

Эстер покачала головой и прищелкнула языком.

– Может быть, беспокойство в тебе сидит и ты этого не понимаешь. Точно так же, как не осознаешь воздух, который окружает тебя повсюду. Если бы временами у тебя был воздух, а временами нет, то ты бы поняла.

– Может быть, – согласилась я.

– Вообще-то не имеет значения, что в тебе сидит, – сказала Эстер. – Что бы то ни было, все равно отдай это утешительному камню.

С тех пор я его и тру, делаю глаже.

О том, как лежится в больнице в ожидании сердца

В очереди на сердце я числюсь под первым номером. Это можно считать и хорошей, и плохой новостью, смешанной воедино. Вкратце это означает, что у меня больше вероятности умереть, чем у любого другого в списке, насколько только способны оценить обстановку понимающие люди. Короче, это как тот самый конкурс, который никому до смерти не хочется выигрывать. Каламбур непреднамеренный. Опять же, если сердце находится, то очень приятно быть первым номером.

Все это очень эмоционально сложно.

А вот плохая новость: в данный момент нет никакого сердца ни для кого из списка. Даже для первого номера. Измениться это, полагаю, может в любое время. Но надо-то сейчас. А ни одного сердца нет.

Готовы узнать статистику, которая идет под заголовком «безотлагательно»? Большинство пациентов из списка либо умрут, либо будут подвергнуты трансплантации в течение двух недель.

Так что моя жизнь приближается к концу. Так или иначе.

На прошлые выходные выпал праздник. Из тех, о которых никто и не помнит. Так, глупое оправдание возможности погулять в понедельник.

Все выходные мама нервничала и ходила с виноватым видом.

Просто места себе не находила. Постоянно. Она заходила ко мне в больничную палату. Выходила из нее. Вышагивала от кровати до окна. Потом обратно. Смахивала пыль с подноса для фруктов. Обрывала засохшие лепестки с цветов. Прогуливалась по коридору. Возвращалась. Будь у меня побольше сил, я бы на нее накричала. Только я даже вздохнуть хорошенько не могу, куда уж тут голос повышать.

Не то чтобы до меня не доходит, с чего это она. Только, когда ты нервничаешь и кто-то еще тоже нервничает, нуждаешься в том, чтобы тебе помогли оставаться спокойным. Иначе их переживания словно становятся на плечи твоим переживаниям, а потом вся эта пирамида делается такой большой и высоченной, что всем невмоготу. В особенности тем, у кого больное сердце. А это шаткое сооружение того и гляди разлетится в прах.

Поэтому пусть я и понимаю, что на самом деле это нечестно, но все же трудно не винить маму за нервозность. Хотя бы только за одну ее назойливость. Образно говоря. Конечно, в буквальном смысле она не пристает. Но она затмевает все остальное в палате. Какое там! Все остальное в мире.

Так. Ради справедливости к маме, вот что делало эти выходные особенно тяжелыми. По праздникам случается больше дорожных аварий со смертельным исходом. Согласно статистике, шансы, что кто-нибудь умрет, очень велики.

Вот почему мама и нервничала: вдруг никто не умрет. Или, что еще хуже: кто-то умрет, но на свидетельстве о смерти не будет донорской отметки. Или семья погибшего окажется очень щепетильной и решит похоронить его в целостности.

Мою маму это сводит с ума. И еще: об этом, наверное, никто не знает, кроме меня. Это тайная причина, почему мама чувствует вину: вдруг кто-нибудь да погибнет. Из-за ее желания, чтобы это случилось.

Никто не умер.

Об ощущении приближающейся смерти

По-моему, я смотрю на это иначе, чем другие люди. И, по-моему, то, как отношусь к этому я, правильно, а то, как смотрят другие, неправильно.

Я не часто говорю об этом. Во мне нет тщеславия. Я не из тех, кто вечно считает себя правым во всем. Просто я тот, кто считает себя правым в одном-единственном.

Расскажу, почему, и, по-моему, это очень хорошее объяснение.

Допустим, речь идет о чем-то еще помимо смерти. Скажем, о горе. Или о дереве.

Во-во, пусть будет дерево.

Я стою под его ветвями. Достаточно близко, чтобы, протянув руку, ощутить ладонью шершавость коры. А вы, остальные, стоите в двух-трех милях, разглядывая дерево в бинокли с запотевшими стеклами.

Так вот. Спрашивается: кто знает о дереве больше?

Вот что я думаю об ощущении приближающейся смерти: тут дело не в бытии, а затем небытии. По-моему, важно именно то, где ты существуешь. А не существуешь ли ты вообще.

Взять меня. Я лежу на больничной койке. Умираю. Если только кто-то вдруг не скончается от несчастного случая, при этом так, что орган можно будет взять вовремя и доставить мне по-настоящему быстро. Но, позвольте сказать, не так много времени осталось, чтобы все сошлось вместе. Я же меж тем все слабею и слабею. Совсем как огонек, который меркнет и меркнет. До тех пор, пока его совсем не будет видно. Может, вспыхнет еще слабеньким проблеском. А потом – ничего. Погас.

Мама заплачет и начнет причитать: «Вот, ушла моя дочка. Нет больше Виды».

Только где-то еще, в каком-то другом месте (каком-то очень далеком месте) вспыхнет слабенький проблеск и кто-то произнесет: «Смотрите. Что там такое? Здесь кто-то новенький». И, думаю, будет этому очень рад.

Возможно, этот новенький не совсем Вида. Явно не в земном смысле этого слова. И определенно у него нет моего тощего тела. Но это я.

По-прежнему я. Просто не такая, какой меня ожидали увидеть.

С этим можно жить. Верно?

Нет, если вы моя мать, то – нельзя.

О сердце

Не было никакого праздника. Просто обычный будний вечер. И какая-то женщина в машине сорвалась с дороги под откос.

Очень многого о ней я не знаю. Только то, что мне рассказала мама. Что нарекли ее Лорейн Бакнер Бейли, а в жизни ей хватало просто Лорри. И что ей было тридцать три года.

И еще то, что авария случилась довольно близко. В Сан-Хосе. Может, час езды на машине, хотя я сомневаюсь, что именно так перевозили сердце.

Хотелось знать, были ли у нее дети, но я робела спрашивать. Уж очень мама эмоциональна в таких вещах. Когда она сообщала мне про сердце, то была очень и очень счастлива. Настолько, что, если не знать ее получше, то можно было подумать, будто счастья у нее в таком избытке, что его ничем и не вышибить.

Только я-то очень хорошо ее знаю. Она была безумно счастлива, правда.

Это было похоже на то, когда ты еще маленькая и твоя мамуля, видя, как ты буянишь с кузинами и аж визжишь от смеха, говорит: «Смейся, смейся пока, но еще минута – и кто-то плакать станет». Потому что тебя чувства просто захлестывают.

Похоже, впасть во сверхсчастье – это словно голову потерять.

На самом деле я знаю об этом лишь благодаря наблюдениям за играми своих кузин. Я никогда не могла дать чувствам полную волю. Интересно, сумею ли это сделать, когда получу сердце, или так и останусь по привычке тихоней?

Так или иначе, но пока у меня его нет, и прямо сейчас я явно не могу позволить себе чересчур волноваться. А моя мама утомляла меня до крайности. Некоторое время спустя пришла мой кардиохирург, доктор Васкес, и, поздравив меня, сказала, как она рада, а мамуле заявила, что мне нужен покой.

Поэтому в конце концов мне удалось немного побыть одной. Как можете догадаться, это время я использую для записок в дневнике.

Пока я пишу, представляю себе мою мать в коридоре: прыгает, словно мячик, стараясь делать это как можно тише.

О моей матери и этом сердце

Моя мать чувствует себя виноватой.

Но ни за что в этом не признается. Только я-то знаю. Я ее очень хорошо знаю.

Она чувствует вину, потому что счастлива. А она понимает: не следует радоваться, когда только что умерла женщина. Мама то и дело твердит, что смерть женщины ее огорчает, но радуется, что муж женщины готов передать медикам сердце.

Но это не совсем правда, поэтому мама и чувствует себя виноватой.

Она не знала Лорри Бакнер Бейли. А меня знает.

Наверное, нам должно быть не по себе, когда кто-то умирает. Я имею в виду тех, кто не попадает под мою теорию медленного угасания. Если нам горько из-за кого-то, тогда нам должно быть горько за всех и каждого. Даже если мы их не знаем, мы все равно должны ощущать грусть.

Только мы ее никогда не чувствуем.

О том, насколько мне надо спешить

Вскоре это сердце окажется на пути к нам. Прямо сейчас оно все еще внутри несчастного донора, жизнь которого поддерживают аппараты. Тем не менее есть всего около полутора часов, может, два, если повезет, до того, как придут готовить меня к операции. Тут любят, когда все хорошо подготовлено, и, как только сердце извлекут и отправят сюда, поверьте мне, никто время терять не станет.

И есть всякое такое, что я хочу записать до того, как это случится, потому что не смогу писать несколько дней, если не больше, а еще будут разные болеутоляющие и сама боль: меня положат в отделение интенсивной терапии по меньшей мере дня на три-четыре, а в ОИТ нет никакого уединения, и помимо всего этого, возможно, после я стану воспринимать все по-иному. Может, что я думала до операции, покажется и в самом деле далеким, если только я вообще

буду помнить, о чем думала. Видимо, не буду. Наверное, к тому времени забуду обо всем, о чем хотела написать.

А писать я собираюсь в основном не про сердце, и может показаться, будто я ухожу в сторону, только мне все равно нужно это сделать. Хочу задокументировать, сколько удастся и как можно быстрее, и, если моя писанина выйдет неряшливой, значит, ей и суждено быть неряшливой.

Просто так иногда бывает. Сначала дни в больнице тянутся так медленно, что каждая минута кажется часом. Потом находят сердце, и все случается разом. Все происходит очень быстро.

Еще о моем друге Эстер, чтобы в том, что я стану писать дальше, было больше смысла

Когда мне было пять лет (почти шесть), Эстер поселилась в нашем доме. Уже тогда она была старой дамой. «Тогда» – это 14 лет назад. Вот как долго я ее знаю. Почти 14 лет. Когда тебе 19, это долгий срок знакомства с кем-либо. Мать послала меня совсем одну подняться по наружной лестнице (оглядываясь назад, думаю, она на всем пути следила за мной из окна) с маленькой корзинкой булочек и запиской, приветствовавшей появление Эстер по соседству.

Мне всегда нравилось, когда приходилось идти куда-нибудь одной, отчего, думаю, все, связанное с Эстер, пошло так здорово с самого начала. Потому что, понимаете, я сейчас думаю об этом и не могу припомнить ни одного другого случая, когда бы выходила из дому на своих двух ножках без надзора матери. Когда самочувствие позволяло и я посещала школу, она провожала и забирала меня. Когда мне нездоровилось, мы целый день проводили вместе, потому что ей приходилось помогать мне с уроками. Во всяком случае, пока я не стала намного старше, но к тому времени я была настолько больна, что, по правде говоря, мне и ходить-то приходилось не много.

Так что в тот момент моей жизни шагать вверх по лестнице представлялось каким-то недостижимым рубежом, и это вызывало полный восторг, не говоря уж о том, что наделяло ощущением самостоятельности и гордости.

На одном пролете лестнице мне пришлось останавливаться дважды. Отдышаться. Впрочем, всего на минутку.

Я постучалась в дверь к Эстер, но она не ответила, и это казалось странным, потому как мы заметили, что она не часто выходит из дому. Дважды в неделю ей доставляли всякие продукты. Позже иногда она наведывалась к врачу или еще куда, но в те первые две недели мы и вправду не видели, чтоб она выходила.

До сих пор я не знаю, была она дома или нет. Всегда было ощущение, что была, только, может, не открывала дверь кому попало. Впрочем, это лишь интуиция. Я ее никогда не спрашивала, так что утверждать с уверенностью не могу.

Подождав некоторое время, я поставила корзиночку перед дверью, и дня через два мы получили от нее записочку со словами: «Благодарю вас», – но не более того.

Мама вообще-то была права, считая, что Эстер странная или с ней что-то не так, но могу точно сказать: мама по-прежнему относилась к новой соседке с сомнением, во всяком случае еще довольно долго.

Так вот, неделю или около того спустя настал мой день рождения – день, когда мне исполнилось шесть лет. Собрались мои двоюродные брат с сестрой, Макс и Ева (они очень шумели и баловались), и две подружки по первому классу, Полин и Жанна. Моя мама, конечно же, а еще бабушка и тетя Бетти, мама Макса с Евой. И все. Но для нас это было большое сборище.

На угощение были хот-доги, свинина с бобами и праздничный торт, и тут я узнаю, что мама решила еще раз достучаться до Эстер и приготовила ей тарелочку с едой.

– Я ей отнесу! – вызвалась я (на самом деле завопила во весь голос), потому как ужасно обиделась, увидев, что мама была уже на полпути к двери.

Разве она не понимала, какой восторг свободы охватывал меня, самостоятельно шагавшую вверх по ступеням? Как она могла лишить меня такого важного момента, когда их у меня и без того было так мало? Я тогда почувствовала, что меня чудовищно не понимают.

– Нет, не трудись, милая, – сказала мама. – Это твой праздник. Оставайся и радуйся ему.

Только дело-то в том, что празднику я не радовалась. Совсем-совсем. Дети говорили слишком громко, все хватали сладкое и хотели играть.

Я была не против поиграть, если это было что-то вроде одевания кукол или соперничества в настолки. Еще мне очень нравились карточные игры, особенно «золотая рыбка» и «старая дева». Только остальным хотелось развлечений с беготней и возней. А я не только не могла этого делать, но и ненавидела, когда мне напоминали, что все остальные могут.

Так что я просто рвалась сбежать оттуда.

Я умоляла. Я встала на колени и обхватила мамины ноги, чтобы она не могла уйти. На мне была коротенькая юбочка, и рисунок ковра слегка отпечатался на коленях. Они покраснели и оставались такими очень долго, потому что я помню, как, глядя вниз, я видела красные пятна на ногах, когда ждала, пока Эстер откроет дверь.

В тот раз я добилась того, чтобы мамуля уступила. В конце концов. Для этого понадобилось и на коленях вдоволь постоять, и повыпрашивать, но она позволила пойти именно мне.

В этот раз я словно знала, едва ли не чувствовала, что Эстер не открывает дверь кому попало. Так что я заговорила с ней через дверь.

– Миссис Шимберг? – сказала я. – Это всего лишь я. Вида. Снизу. Вы знаете. Девочка, которая вам оставила булочки.

Эстер из тех престарелых женщин, кто громко стонет, бормочет недовольно, когда приходится вставать с места, и я через дверь слышала эти причитания.

Через минуту дверь открылась, и она глянула на меня сверху вниз. Без улыбки. Не внушая мне ничего плохого вроде того, что мне тут не место, но и не улыбаясь.

И она сказала:

– Да, малышка? Чем я могу тебе помочь?

Прежде я никогда не слышала такого сильного акцента, как у нее, во всяком случае я такого не помню, и я не вполне понимала, как к этому относиться.

Я опустила взгляд на тарелочку с едой, которую держала в руках, и Эстер тоже посмотрела туда.

– Мы там внизу день рождения празднуем, и мама попросила меня отнести вам это.

– А чей это день рождения? – спросила она.

Я ответила, что мой.

– Что ж. С днем рождения тебя, юная леди. Не хочешь ли войти?

Я была очень рада и взволнована, ведь мне никогда не доводилось ни к кому приходить в гости совсем одной, и я не знала никого, кого бы не знала и моя мать, кроме детей из школы, только они все друг с другом знакомы, так что это не совсем то же самое.

– Да, мэм, – произнесла я и шагнула вперед.

Но Эстер мягко остановила меня, положив руку на плечо.

– То, что я сейчас скажу, может прозвучать для тебя довольно странно, – произнесла она. – Но мне нужно это сделать, и я надеюсь, что ты очень постараешься понять. Добро пожаловать ко мне, и ты можешь захватить с собой этот прелестный кусочек торта. Но вот хот-догу, в котором, как я полагаю, свиная сосиска, и бобам, которые, как я вижу, идут вместе со свининой, придется остаться за дверью.

Это и вправду звучало как-то странно, но я переложила торт на салфетку и оставила остальное за дверью, на низеньком приступке.

Когда я вошла, то поразилась, до чего все было голо вокруг. Мамуля, если честно, была падка на вещи. Все наше жилое пространство было заполнено самыми разными штуковинами. Эстер, видимо, вещи чересчур не занимали. Тогда я подумала, это потому, что она недавно вселилась. Только у нее так ничего и не изменилось. Зато мне пришлось сменить свои теории о том, почему это так.

Окно было раскрыто, и на подоконнике два голубя и множество мелких черных птичек склевывали крошки, которые им насыпала Эстер. Мне понравилось, как влетал в окно прохладный ветерок, нравилось, что можно слышать звуки города. Моя мать никогда не оставляла окна открытыми. Прямо как будто боялась свежего воздуха.

Эстер разъяснила мне, что значит соблюдать кошерность. Я не совсем поняла. Но уловила связь между ней и тем, почему свинине пришлось остаться за дверью. Я изо всех сил старалась понять. Поняла все, за исключением: а зачем? Но подумала, что было бы невежливо задавать о таком слишком много вопросов. В особенности таких, в которых есть какое-нибудь «а зачем», потому что это будет похоже на осуждение.

– У тебя есть место для еще одной порции торта? – спросила она.

– Торт я всегда могу есть, – ответила я.

– Тогда съешь кусок, что у тебя в руке. И мы позволим твоей маме думать, что я с удовольствием съела по крайней мере торт, даже если и не тронула сосиску и бобы.

Вот так я и сидела у нее, чувствуя себя взрослой, как никогда в жизни, уплетая третью порцию торта за день.

Я посмотрела на кухонный стол и увидела, что булочки, которые мы ей дали, были по большей части все еще целы, но сморщились и почерствели, а потом я снова глянула на подоконник и поняла, чем кормятся птицы. Разглядела желтые корочки с черными точечками от лимонных булочек с маком.

Думаю, я понимала, что мамуля непременно бы обиделась и оскорбилась, если б увидела, на что пошли ее булочки, только я считала, что кормить птиц – дело полезное, и булки для него вполне годятся. Может быть, они тоже некошерные. Я все еще не была уверена, как отличать (помимо свинины, с ней дело было ясное).

Мы поговорили немного об обычных вещах, вроде сколько мне лет и куда я хожу в школу (что в моем случае осложнялось тем, что временами я была нездорова и приходилось учиться дома), а потом она сказала мне кое-что приятное:

– Ты ребенок. И тебя приятно видеть гостьей. Обычно я не люблю находиться среди детей, но твоему визиту буду рада, приходи, когда захочется. Большинство детей крикливы и никак не могут найти себе места. Я от них чересчур устаю. Ты меня не утомляешь. Держишься спокойно, словно взрослая, и ты, видимо, девочка очень тихая и сдержанная.

Вспоминая, я могла случайно изменить пару слов, ведь все произошло так давно, но я не один день раз за разом повторяла эти слова про себя, а потому, думаю, по-прежнему держу их в голове вполне правильно.

Я ответила, что из-за моего больного сердца. Сказала, что врачи говорят, что, видимо, я доживу только до подросткового возраста, а может, даже и не так долго. Как повезет.

Эстер откинулась на спинку кресла и вздохнула. Потом произнесла:

– Иногда люди говорят тебе то, что после оказывается неправильным. Не имеет значения, насколько знающими они себя считают.

– Так и моя мама думает.

– Я уже однажды перехитрила смерть ради возможности дожить до старости. И, поскольку я старая, теперь я обманываю смерть каждый день, когда просыпаюсь и дышу.

– А как вы это сделали?

– Знаешь, это долгая, запутанная история, такую, может быть, лучше отложить до другого раза. Должно быть, твоим друзьям понравится, если ты вернешься к ним на праздник. В конечном счете он ведь в твою честь.

Я огорчилась, но просто сказала:

– Ладно, только я хочу снова прийти к вам в гости.

И она отозвалась:

– В любое время, когда захочешь.

Я чувствовала себя очень польщенной, поскольку знала, что больше никто ее не навещал, во всяком случае до сих пор, вот и считала себя какой-то особенной.

Когда я вышла за дверь, бобы исчезли, а большой рыжий кот доедал хот-дог. Он (или она) оттащил его от двери Эстер и расправлялся с сосиской, держась настороже и поглядывая через плечо. Увидев меня, он унес добычу подальше, оставив булку на месте. Тогда я разломала ее на кусочки, села на ступеньках лестницы, и птицы подлетели совсем близко ко мне за тем, что имело для них ценность, за хлебом.

Я взглянула вверх на окно и увидела, как Эстер смотрела из него. И она помахала мне рукой. Вот так я и поняла, что у меня есть новый друг, друг, которого я нашла сама.

Так что после этого случая я поднималась к ней, и мы сидели и разговаривали почти каждый день. Даже в те дни, когда я чувствовала себя далеко не самым лучшим образом.

Я догадывалась, что мамулю вся эта история немного беспокоит. Не то чтобы она видела нечто дурное в посещениях Эстер. Скорее понимала, что у меня теперь есть новая область жизни, которой с нею не делятся. Помнится, она задавала кучу вопросов о том, что мы обсуждаем во время наших встреч. А однажды она немного вывела меня из себя, когда поднялась и толковала с Эстер у меня за спиной.

Я об этом узнала только потому, что позже Эстер объяснила:

– Твоя мама приходила навестить меня. Выразить некоторую озабоченность, нужно ли шестилетней девочке выслушивать истории о концентрационном лагере. Я уверила ее, что не рассказывала всякие ужасы, от которых тебя бы мучили плохие сны. Но даже в этом случае, думаю, она полагает, что тебе следует знать только о том, что приятно и радостно. Как будто жизнь вполне себе благодатна.

Когда мне было шесть лет, я не знала слова «благодатна», но не хотела терять время на расспросы.

– И что вы ей ответили?

– То, что искренне чувствую: кому-то нужно обсуждать с тобой такие темы, как что такое жить и умирать. Я сказала, что уверена: именно поэтому ты ищешь моего общества. Потому, что мы беседуем о предметах, которые тебе не разрешается обсуждать дома.

– И что она сказала?

– Не много. Но она не выглядела полностью убежденной. Однако отправилась домой. А ты по-прежнему ходишь ко мне в гости. Так что это говорит о многом.

С тех пор мы с Эстер и ведем беседы. Теперь, когда я все это записала, будем надеяться, что то, о чем я буду рассказывать дальше, не покажется ни чудным, ни неуместным.

О том, как смерть подбирается к Эстер

Как я уже говорила, странно было бы смешивать здесь то, что касается Эстер, с другим. Ведь все остальные вокруг думают и говорят лишь о сердце. Ни о чем другом, только о сердце. Но на самом деле я не так уж отвлекаюсь, как вам может показаться.

Я перечитывала написанное в этой пустой книжке (ладно, пора называть ее дневником, потому что она уже не пустая) и наткнулась на место, где речь идет о приближении смерти. И я поняла, что не следовало называть это «Об ощущении приближающейся смерти». Надо было назвать «О том, как я ощущаю свою приближающуюся смерть».

То, как подбирается смерть к Эстер, – это совсем-совсем другое дело.

Хотела изменить заголовок, но тогда пришлось бы втискивать слова между другими словами или перечеркивать и писать заново, и так и эдак получилось бы неопрятно. Но я не в силах заставить себя сделать эту книжку грязной. Пускай она и сейчас несколько неряшлива, но это потому, что я тороплюсь и пишу быстро.

Думаю, я все-таки немного отвлекаюсь.

Вот в чем суть: считалось, что я умру раньше Эстер. Более или менее оттого-то мы и дружим. У большинства людей, кому нет и двадцати, не бывает по-настоящему хороших друзей, кому девяносто. Что у них может быть общего? Но у нас с Эстер есть кое-что. На том и ставим точку.

Оп-па. Взгляните, что я только что написала. Ошибочка. Кое-что, чему, возможно, уже не бывать правдой. У нас с Эстер было общее, потому что мы обе готовились довольно скоро умереть. Но я только что получила сердце. Скажем, я перенесу операцию. Что, если получится и я буду оставаться в здравии? У нас же больше не останется ничего общего. Плюс потом мне придется как-то справляться с потерей Эстер. Не уверена, что у меня получится.

Вот поэтому-то у меня и нет друзей, как говорят, тоннами и тоннами. Ведь на самом деле не существует желающих общаться с теми, кто уже одной ногой в могиле. Была у меня одна прекрасная подруга по имени Джейни, мы дружили с третьего до половины шестого класса, но потом она переехала. Мы и сейчас пишем друг другу. От случая к случаю.

Порой я думаю, не в том ли причина, что у меня не появилось много друзей: они живут далеко от меня или я от них. Когда делаешь что-то очень и очень долго, это становится труднее расчленять и осмысливать. Но возможно, что именно я и была той, кто не хотел рисковать моим сердцем.

Ой, любопытно. То, что я только что сформулировала, довольно интересно, я осознала это лишь после того, как написала.

Но с Эстер я сблизилась, ведь была уверена, что умру первой. А значит, мне и не пришлось бы мириться с тем, что мой друг медленно угасает.

Помните всю ту ерунду, что я наговорила про меркнущий свет и вспыхивающий вновь где-то еще? Есть очень четкая разница между теми, кто угасает и кто остается. Я не хочу быть здесь, когда Эстер погаснет. Я не хочу оставаться.

Возможно, это поможет мне быть терпеливее с моей мамулей. Я уверена, что должно помочь. Но, по правде говоря, я не делаю жизнь Эстер более несчастной просто потому, что не хочу ее потерять. Я ведь всего лишь хочу, чтоб она жила дольше.

Только послушайте меня. Все о маме да о маме. Надо бы отодвинуть ее в сторонку. Уверена, она старается делать все как можно лучше, даже если и выходит немного сомнительно.

Короче. Все считают, что получить сердце – сплошное благо. И это действительно счастье, не поймите меня неправильно. В этом больше хорошего, чем плохого. Только нет никакого абсолютного блага. Всегда снаружи все выглядит сплошь добрым, но когда оно в конце концов обволакивает тебя, то оказывается более сложным и многослойным, чем когда-то представлялось.

Даже не пытайтесь объяснять это кому бы то ни было. Они – снаружи. И у вас ничего не получится.

Думаю, это и впрямь должно мне помочь понять мать лучше.

Только, по правде говоря, если бы вы ее знали, вам бы тоже захотелось накричать на нее.

О моем отце

Мамуля как-то принесла мне сообщение от него.

Держала его так, словно оно могло заразить какой-нибудь болезнью.

Наверное, она так никогда и не простила отца. Но ведь он ушел не потому, что утратил интерес или еще чего. Не думаю, что была другая женщина или что-то такое. Скорее всего, просто стало слишком трудно оставаться.

Жаль, что она не дала ему поблажку. Только остерегаюсь это говорить.

– Ты ему про сердце рассказала? – спросила я.

И она ответила:

– Конечно.

– По телефону звонила?

– Да.

– Ты же всегда говоришь, что это слишком затратно.

– Это очень важная новость.

Обычно я не расспрашиваю ее, как часто она с ним общается или о чем ему рассказывает.

Было время, когда он навещал меня каждые выходные. До тех пор пока мне не исполнилось семь лет. Потом отец переехал в Швецию. Так что после этого он только шлет открытки и подарки ко дню рождения и на Рождество. Подарки по большей части хорошие, вот только с некоторых пор слишком уж девчачьи для меня, потому что отца рядом нет, он не видит, как я расту, иначе бы знал, что я больше похожа на мальчишку-сорванца.

На самом деле он не виноват в этом.

Раза три-четыре в год я пишу отцу письма, потому что звонить по телефону слишком «затратно» (я бы сказала дорого, но вы-знаете-кто говорит «затратно»), и он всякий раз отвечает, только его сообщения раз в десять короче моих. Наверное, потому что у него новая семья с четырьмя ребятишками. Четверо детей спокойно посидеть не дадут. Но по крайней мере он всегда отвечает.

Я взяла сообщение, и мать оставила меня одну на минуту прочитать его. Словно отец по-настоящему был в комнате, и она не желала его видеть. Как будто мама не читала сообщение и даже не распечатывала. Словно уединение вспять.

Иногда я задумываюсь, все ли семьи такие страшные или это только моя.

«Дорогая Малышка!» – говорилось в сообщении.

Отец всегда зовет меня Малышкой. Это знак ласковой привязанности. Мне это очень-очень нравится.

«Похоже, письмо по электронной почте не самый лучший вариант, но твоя мама только что сообщила мне добрую весть, и, полагаю, она сама узнала недавно. Думается, когда нечто подобное наконец-то происходит, то происходит оно как-то сразу. Даже нет времени подумать. Хотел поговорить с тобой по телефону, но она звонила из вестибюля. Мы подумали, а вдруг ты спишь. И я решил, что Бог знает, как нужны тебе отдых и свежие силы. Но все равно хотелось поговорить с тобой. Я расстроился, что нельзя, но твой отдых – первое дело.

И я уверен, ты понимаешь, что, если я пошлю тебе красивую открытку, или цветы, или еще что-то, это доберется до тебя не раньше чем недели через две. Вот почему сейчас – электронная почта. Настоящая открытка и письмо – потом.

Я так рад, Малышка, что у тебя есть „потом“. Думается, нутром я всегда знал, что так и будет. Все утверждали обратное, но я им никогда не верил. Не говорил об этом, не то подумали бы, что я помешанный. Теперь жалею, что молчал. Мог бы сказать: я же говорил вам. А-а, ладно.

Сегодня я целый день думаю о тебе. И словно оказываюсь к тебе ближе.

Все будет.

С любовью – твой папа».

Я выждала несколько минут. Проверяла, не вернется ли мамуля сама. Потом позвала ее, на тот случай, если она стоит прямо в коридоре. В чем я была уверена на девяносто девять процентов.

Сказала:

– Ладно. Спасибо. Можешь возвращаться уже. Он ушел.

Она тут же просунула в дверь голову, осторожненько, как будто отец вправду только-только покинул здание. Словно сначала ей нужно удостовериться, убедиться, что берег чист.

Смешно, как мы наделяем некоторых людей такой большой властью над нами. Нет, не смешно. Странно. Во всяком случае, я считаю это странным. Все остальные ведут себя так, словно это самая нормальная вещь в мире.

Что я лучше всего помню об отце

Не знала, найдется ли время написать это, но вот – пишу. Это воспоминания из тех времен, когда мы всей семьей жили вместе.

Одно о том, как отец катал меня на мотоцикле.

Понимаете, я постоянно смотрела в окно, наблюдала, и как он приезжал, и как уезжал. Мне было грустно, когда он уходил, и радостно – когда возвращался. Да и я просто любила смотреть, как он ездит на этой штуке. Мне нравилось, как летом ветер забирался ему под рубашку со спины (зимой он ездил в кожанке, и это выглядело совсем не так), а потом раздувал ее пузырем. Выглядело как свобода, которая мне была видна лишь издали.

Было лето, когда это произошло. Думаю, мне исполнилось года четыре.

Помню сумерки, теплый вечер. Отец поднялся по лестнице, а я все еще сидела на подоконнике, разглядывая мотоцикл, стоявший внизу у бордюра. Я много времени проводила, глядя в окно, потому что, когда мне было четыре, здоровье у меня было неважное. Это было перед самой третьей операцией на сердце, моей третьей ступенью процедуры Норвуда[3 - Процедура Норвуда – трехступенчатая операция на сердце для больных с гипопластическим левым сердечным синдромом. Целью процедуры является подключение отдельного желудочка к кровообращению всего организма. При этом для кровоснабжения легких необходимо создать альтернативный путь.], и меня готовили к этому важному событию. Так что возможности гулять у меня не было.

Мамуля рванула из дому, как только отец переступил порог, потому что собиралась куда-то там отправиться и все ждала, когда он придет и посидит со мной. Не помню, куда ей надо было. Только, думаю, она с ума сходила, оттого что он заставлял ждать.

Когда мать ушла, отец посмотрел на меня. Полагаю, вид у меня был на самом деле унылый. Я не знала, что так выгляжу. Чувствовала, что мне грустно, но не осознавала, что это заметно. Но по его лицу я это поняла.

– Бедняжка, – произнес он. – Бедная Вида. У меня сердце разрывается при виде того, как ты смотришь из окна, словно мы тебя в клетке держим или еще что. Пойдем. Подышим немного свежим воздухом.

Он посадил меня к себе на плечи, и мы обошли весь квартал, и люди улыбались мне, проходя мимо.

Потом мы вернулись к нашему дому, он снял меня с плеч, а я глядела на мотоцикл, и он посмотрел. Потом снова на меня. Потом опять на мотоцикл.

– Маме, смотри, не проговорись.

Я быстро-быстро кивнула раза три. Было ощущение, будто меня разорвет.

Сидеть пришлось на бензобаке, вклинившись отцу между ног, чтобы не свалиться ненароком. Шлема моего размера у него не было, так что он просто поехал медленно. Только мне казалось – быстро. Волосы разметались, и я хохотала так, что остановиться не могла, тогда отец повернул обратно к дому, словно испугался, что я засмею себя до смерти.

Помню, как держалась обеими руками за его рукава, как пришлось тянуться и вверх, и вперед, чтобы ухватиться за них.

Потом отец отнес меня в кроватку, я лежала в ней, обессилев от эмоций. Через некоторое время мама пришла домой, и они поругались чуть ли не до драки. Понятия не имею, откуда она узнала. Кто-то из соседей, может? Знаю только, что она разъярилась как бешеная.

Толком не помню, что именно они говорили, и это странно, так как они одно и то же орали без конца, только всякий раз чуть-чуть иными словами. У меня была куча времени, чтобы их запомнить. Может, я потому их и забыла, что запоминать не хотела.

Помню только, как папа сказал, что кому-то надо заботиться и о других моих органах помимо сердца. И о моих остальных нуждах тоже. Не только о тех, что связаны с телесным здоровьем.

От этого мамуля еще больше разъярилась. Есть одно, о чем в разговоре с моей матерью лучше не заикаться, – это усомниться в том, что она не совсем правильно обо мне заботится. В этом ее особая миссия, так что вы не на шутку рискуете жизнью, хоть как-то ставя ее действия под сомнение.

Почти всю ночь родители кричали друг на друга, а на следующий день отец собрал свои немногочисленные вещички и ушел жить к приятелю по работе, Моэ, а несколько недель спустя он съехал окончательно.

Хочу сказать две вещи о разводе.

Первое. Говорят, что дети склонны винить самих себя. Только я всегда отличалась от других. Я винила маму. Всего-то на мотоцикле прокатились. Было здорово. Она могла бы на такое и рукой махнуть.

Оглядываясь назад, я уверена, что все было куда сложнее, чем думалось. Но мне было четыре года. Вот и казалось – просто.

И еще. Второе. Я читала где-то об исследованиях среди семей, переживших смерть ребенка. О том громадном проценте пар, что развелись. Какая в точности цифра, я забыла, но она была большая.

Только, насколько мне известно, никто не изучал семьи, которые знали, что им довольно скоро предстоит потерять ребенка.

Готова поспорить, что статистика для них не так кусается.

О докторе Васкес

Она только что приходила ко мне в палату побеседовать со мной перед большим событием. По счастью, к тому времени я уже успела управиться со всеми своими записями.

Когда я ее увидела, то поняла, что время пришло. И ощутила, что в груди у меня, как говорится, екнуло. Нет, думаю, не следовало упоминать мою грудь. Это немного эвфемистично. Екнуло-то как раз мое сердце. Может, оно понимает, что его дни сочтены. Но, по-моему, то была всего лишь реакция на страх. Знаете же, как учащенно бьется сердце, когда вам страшно? Типа того.

Так вот, вдруг ни с того ни с сего я стала чувствовать свое сердце и подумала: «О, боже мой. Нельзя же просто вырезать его и выбросить. Это мое сердце! Без вопросов, сердечко так себе, но оно мое. Оно у меня всю жизнь было. Оно – это я. Как-никак. Кем я стану без него?»

Только ничего этого я доктору Васкес не сказала, так как у нее впереди важная работа и я не хотела, чтобы то, что ей вот-вот предстоит сделать, казалось еще более таинственным и сложным, чем требуется. Ей, я имею в виду. Пусть где-то на задворках моего разума и сидела мысль, что для меня, наверное, это дело было куда более таинственным, чем для нее. Она все время сердца пересаживает. А у меня это первый раз.

Она встала у кровати, потянулась к моей руке, и я дала ей ладонь.

Поинтересовалась, как я себя чувствую.

Наверное, это кажется очень простым вопросом. Во всяком случае, не для меня.

Я ответила, что, по моим представлениям, я близка к норме, как любой, кто мог оказаться в моем положении, она улыбнулась, и я уверилась, что она и вправду слушала. (Полно людей, которые спросят, как ты себя чувствуешь, но, как правило, когда отвечаешь, если внимательнее присмотришься, то видишь, что они и не слушают на самом-то деле.)

Доктор спросила, не хочу ли узнать что-то об операции. Вы понимаете. Всякие последние вопросы.

Я ответила, что в данный момент мысли у меня такие: может, чем меньше я знаю об этом, тем лучше, – и врач слегка рассмеялась.

– В самом деле? – уточнила она.

– Нет, шучу, – ответила я. – Можете рассказывать.

– Что ж. О сердечной хирургии вам уже известно очень много. Слишком много для девушки вашего возраста, по правде говоря… У меня вызывает сожаление то, что вы стали таким спецом. Вероятно, это похоже на по-настоящему уникальную операцию, в некоторых отношениях так оно и есть, однако основная последовательность событий ничем не отличается от процедур, какие уже были у вас в прошлом. В чем-то она проще. Мы делаем разрез того же размера. Так же пропиливаем грудину, с той разницей, что на сей раз нам придется пройти через большее число проволочек, оставшихся от последних манипуляций. И вам, наверное, известно, как мы применяем прижигающую присадку для уменьшения кровотечения…

– Ну да, – поежилась я. – Терпеть не могу эту штуку. Она, по правде, гадко воняет.

Врач глянула на меня с некоторым любопытством:

– Кто вам рассказал об этом?

Тут я поняла, что дала маху, заговорив о том, о чем давным-давно обещала себе никогда не заговаривать.

Ойкнув, сказала:

– Это долгая история. Не обращайте внимания.

Понимаете, когда мне делали ту третью процедуру, когда мне было четыре года, я то ли увидела, то ли мне приснилось кое-что из того, что происходило. Понятия не имею, явь то была или сон, и, наверное, не узнаю этого никогда.

Просто помню: я видела себя лежащей на столе, только мне совсем не было видно голову, потому что она была скрыта такими голубыми занавесками. Моя грудная клетка была распахнута такими большими металлическими щипцами, а надо мной стояла доктор Васкес вместе с еще одним хирургом, тремя сестрами, анестезиологом и мужчиной за аппаратом «Сердце-Легкие». Все смотрели на мое сердце. Следили, как оно останавливалось. Она положила туда, на мое сердце, кучу льда. Чтобы замедлить сердцебиение и остановить его. Я видела влажные кубики, заполняющие полость в моей груди.

Вообще-то анестезиолог и врач за аппаратом «Сердце-Легкие» туда не смотрели. Они стояли слишком далеко от стола. Они наблюдали за мониторами. Только выходило более-менее так же, потому что они тоже следили, как останавливалось сердце. Даже четырехлетка знает, что значит, когда красная линия становится ровной. Во всяком случае, эта четырехлетка знала.

Через минуту хирург вынула основную кучу льда и отсосом убрала остальное, и мне стали видны две толстые трубочки крови, тянувшиеся от меня к аппарату «Сердце-Легкие», у крови, что приливала, и той, что уходила, были разные оттенки красного.

Работу доктор Васкес то и дело прерывала, чтобы пустить в ход эту самую прижигающую присадку там, где все еще кровоточило, и, когда она касалась окровавленной живой ткани, взвивался дымок или парок и плохо пахло.

Может ли запах присниться? Может быть. Но, наверное, нет.

Я наблюдала минуту-другую откуда-то сверху, и мне все было видно по-настоящему хорошо. Я видела прямо под собой. Будто я смотрела сверху, оттуда, где светили лампы.

О, и еще одна маленькая причудливая подробность. Играло радио. Что-то вроде мягкого классического рока.

Лучше всего я запомнила странную тонкую простыню, какой укрыли мое тело, она прямо липла к коже. Она была красновато-желтого цвета из-за содержавшегося в ней йода, и сначала я подумала, что это кожа у меня такая, она делала меня похожей на покойницу. Из-за нее кожа выглядела, как бумага, казалась необычной, словно мне сто лет или даже будто бы я разлагаюсь. Было очень противно.

Это и запах прижигания. Его, по правде, забыть трудно.

Я никогда ни у кого не узнавала такие подробности после операции и никогда никому не говорила о том, что то ли видела, то ли мне приснилось. Потому что знала: от этого моя мать вообще чокнется. Ведь если это не был сон, значит, это что-то вроде минутного мертвого состояния. Я имею в виду, если у тебя не бьется сердце, это что? В данных обстоятельствах сказать трудно.

Только я усвоила: не обо всем, что с тобой случилось, надо рассказывать. Кое о чем лучше не упоминать.

Впрочем, вернусь к разговору с доктором.

Пока я обо всей этой ерунде думала, она сообщила мне еще больше подробностей об операции и о том, чего ожидать, но я лишь вполуха слушала и не настолько хорошо запомнила, чтоб сейчас это записать. Впрочем, больше всего говорилось про аппарат «Сердце-Легкие». Как он будет поддерживать кровообращение во мне, чего больше ничто не может. Как будто я уже не в курсе этого.

– Хотите еще что-нибудь узнать?

– Сердце уже тут?

– Нет, но его извлекают. Прямо сейчас. Пока есть время на изъятие, поскольку у донора искусственно поддерживается жизнь. Но вскоре оно будет в пути.

И я подумала: «Боже, может, еще будет время написать».

– Вы отвезете меня в операционную и вынете мое сердце, пока будете ждать другое?

– Мы намерены отправить вас в операционную, пока ждем, да. Но мы не дадим вам пройти то, что мы зовем точкой невозврата. По-моему, вам известно, что я имею в виду. До тех самых пор, пока не увидим, как донорское сердце проходит в дверь операционной. Не потому что возможна какая-либо неурядица. Однако – никогда не знаешь. А что, если вертолет разобьется?

– Какая может быть разница? Без него я все равно умру в любом случае.

– Разница есть, – возразила она.

Мне подумалось, что она подразумевает: для нее. Не уверена, какая может быть разница для меня.

– Могу я попросить об одолжении?

– Конечно. Что угодно.

– Я знаю, в последние два раза, когда меня оперировали, вы прикладывали к моему сердцу пластины дефибриллятора. Чтоб оно снова заработало. – Этого я не видела, просто знала из того, что мне говорили. – И это нормально, потому что это было с моим старым сердцем. Только я читала, что иногда пересаженное сердце само начинает биться. Не всегда, но бывает. Иногда его просто отогревают, а оно начинает работать. Может, вы могли бы дать ему шанс. Понимаете. Самому забиться. Ведь я отношусь к нему как к какому-то гостю. В переносном смысле. Я буду привыкать к нему – и наоборот. И хочу, чтобы отношения у нас с ним сложились правильно с самого начала. Понимаете. Будьте радушны. Отнеситесь к нему как можно вежливее.

Хирург улыбнулась, но я не могла сообразить, о чем доктор думает. Надеялась, что она слушала меня правым полушарием мозга или, по крайности, обеими полушариями сразу, а не только тем, что за ее профессию отвечает, – левым.

– Условия будут диктовать обстоятельства, – сказала она. – Но я буду держать твою просьбу в голове. Мы будем настолько радушны, насколько способны.

– Спасибо, – произнесла я. – И еще одно. Это про мой дневник.

– Хорошо. И что про твой дневник?

– Я хочу записать в него что-то про операцию по пересадке. Но сделать этого не смогу. Потому что пропущу все на свете. Надеюсь, что вы сможете.

– Вы хотите, чтобы я написала в ваш дневник?

– Об операции. Ага.

– Что же вы хотите, чтобы я написала?

– Не знаю. Все, что покажется важным. Все, что захотите. Он будет на посту дежурной сестры. Сейчас я вам его дать не могу, потому что хочу еще повозиться с ним до того, как меня придут готовить. Но я всегда оставляю его у дежурной сестры, если только не бодрствую и не пишу в нем, потому что не хочу, чтобы его читала моя мать. А она, думаю, не преминула бы, выпади ей хоть полшанса. Так что просто верните его сестре на пост, когда закончите, хорошо?

Тут наступило молчание. И один раз она почесала голову.

– Просьба немного необычная, – заговорила врач. – Не могу сказать, чтобы о таком меня раньше просили. Но, полагаю, кое-что я могу сделать.

– Спасибо.

Потом она пожелала мне всего наилучшего и всякую такую обычную ерунду, какую говорят человеку в моем состоянии, а как только она ушла, я записала в дневник все, что смогла запомнить о нашем разговоре. В сильной спешке.

Сон про сердце, если только это мне не снилось

Ну вот, еще одно, что то ли было сном, то ли не было. Я даже не уверена, как должна отличать одно от другого.

Я решила, что записала все, что хотела, вот и погрузилась в легкий короткий сон минут, может, на десять-пятнадцать. Такой, в каком ты всего на три четверти спишь.

И во сне я увидела сердце.

Не само по себе настоящее сердце, я хочу сказать. Не просто красный мускульный мешок в паутине вен.

Скорее его движение. Путь ко мне.

Я спала и видела медицинский контейнер-холодильник. Болтается в чьей-то руке. Быстро пересекает автостоянку. Устанавливается в вертолет, держится в полной неподвижности, пока вертушка взлетает и на полной скорости несется по направлению ко мне. Он ярко-оранжевый. Холодильник, я имею в виду. Похож на оранжевый цвет безопасности на автострадах. На нем выписаны слова «Трансплантат» и «Орган». Возможно, «Орган-трансплантат» или, может, «Орган для трансплантации». Не уверена, потому как мне не видно контейнер целиком, уж так его закрепили. Но, не считая этого, все остальное видно по-настоящему хорошо. Я вижу даже клубочек пара от сухого льда.

Потом я проснулась, мамы все еще не было, и я гадала, было ли только что случившееся одним лишь сном или хоть какой-то кусочек происходил на самом деле. Может, часть моей души настолько слилась с перевозкой сердца ко мне в больницу, что я должна была встретить его и сопровождать.

Только не думаю, что от сухого льда поднимался бы клубочек пара. По-моему, ничего не будет, пока контейнер не откроют, чего не сделают, пока он не окажется в операционной со мной, а потом, наверное, вознесется целое облако пара. Но пока эти медицинские холодильники закрыты, а они закрыты

абсолютно плотно, никакой парок не пробьется.

Может быть, я спала и мечтала одновременно и каким-то чудесным образом вставила этот маленький эпизод в свой сон.

А остальная часть, наверное, была реальной.

Жаль, мне это не приснилось до того, как доктор Васкес пришла побеседовать со мной, тогда бы я спросила про медицинский холодильник, какого он цвета, но, может, она и сама не знает, потому что его тут все еще нет.

Кроме того, вдруг все это было одним лишь сном и ничем больше.

Только, по правде, я так не думаю. Я очень хорошо все чувствую. И это не было похоже на сон.

Секрет про меня и это сердце

Вы понимаете, о чем я говорю не переставая? Про смену формы? Смену мест? Про угасание тут и свечение где-то еще?

Так вот, с одной стороны, приближается смерть. Радости от этого никакой.

С другой стороны, пусть это и не тот исход, к какому вы сознательно стремитесь, но и он начинает казаться каким-то… умиротворяющим. В сравнении с альтернативой.

Противоположно тому, когда врач-хирург вскрывает тебе грудь сверху донизу, проламывается электропилой через грудину, раздвигает грудную клетку (до тех пор пока она не распахнется так, что хирург может влезть в нее обеими руками в перчатках, а все остальные в операционной – увидеть твое слабое инвалидное сердце, старающееся изо всех сил, но справляющееся из рук вон плохо), вырезает это несчастное сердце, которое – наиважнейший орган выживания, хотя это ни о чем и не говорит, выбрасывает его и вшивает большой мускульный ломоть от кого-то совершенно другого, потом отвозит тебя на каталке в

интенсивную терапию, где ты позже просыпаешься с ощущением, словно стояла на коленях посреди улицы, а мчавшаяся машина саданула тебя прямо посередине груди (невзирая на укол морфия, способного уложить небольшую лошадку).

Не то чтобы я не рада ее умению. Не хочу казаться неблагодарной. Не то чтобы я не буду по-настоящему счастлива, когда это кончится. Только прямо сейчас это продолжается. Прямо сейчас я смотрю этому прямо в глаза и пишу чертову правду о том, что чувствую. Просто пытаюсь описать, что ощущаешь после того, как внутренние часы были перезапущены, а новый механизм неожиданно настроился на большую боль и борьбу.

Это громадный секрет про меня и про это сердце. У меня сейчас, когда все произошло, смешанные чувства по поводу его появления.

Прошу вас, кто бы ни взялся это читать, пожалуйста, пожалуйста, никогда-никогда не рассказывайте моей маме о том, что я только что написала.

Дорогая Вида!

Сижу в ординаторской с двумя хирургами, которые ассистировали мне при пересадке тебе сердца. Обмениваемся мнениями о том, что написать. Совсем не уверена, что делать, и, хотя эти двое оказывают мне громадную помощь в операционной, они мало чем способны помочь в ординаторской при записях в дневник. Так что просто буду стараться по мере сил.

Мне кажется, у вас нет желания узнать как можно больше чисто медицинских подробностей, вроде того, заказывала я или не заказывала дополнительную дозу крови, да как беспокоило сестер в ОИТ количество жидкости в ваших дренажах, или как долго мы следили за новым сердцем, прежде чем решили, что с вами все нормально и нам можно пойти попить содовой. Все это есть в моих записях, если вас заинтересует, но, как мне кажется, вы мне свой дневник дали не за этим. Так что я выскажу еще несколько личных замечаний, которые идут у меня от самого сердца. Насколько это устраивает?

Я знаю вас давно, Вида. Мы возвращаемся немного назад, не так ли? Это был третий раз, когда я вскрывала вашу грудную полость и видела, как бедное блокированное сердце изо всех сил старалось разгонять кровь. Первые два раза, разумеется, были второй и третьей стадиями ваших процедур Норвуда.

Отмечу пару моментов.

Первый. Всякий раз, скрепляя грудину пациента, я выражаю пожелание или, в зависимости от случая, даже читаю молитву: это последний раз, когда кто бы то ни был имел возможность воочию видеть биение этого сердца. Вам я такого желала уже дважды и помню ощущение от мысли, что ваше бедное сердце в своей короткой жизни слишком уж часто подвергалось выставлению напоказ и досмотру. Только на сей раз мне довелось пожелать этого с большей убежденностью. Когда проходишь вторую стадию Норвуда, уверенной быть трудно. Нереалистично. Понимаешь, что, наверное, будет и третья, особенно в вашем случае. Потом, после третьей, ты просто не знаешь.

Однако на сей раз мы, возможно, действительно добились своего.

Надеюсь на это.

Второй момент. Хочу сказать, что, невзирая на то что с медицинской точки зрения такое звучит нелогично, я чувствую некоторую вину перед вашим старым сердцем. За то, что перестала ему помогать. Оно было все еще живо, все еще старалось. Пришлось напомнить себе, что оно одновременно и слабело, а вскоре и покончило бы с вашей жизнью. Но всякий раз, когда я видела его, оно казалось таким отчаянно смелым в своих трудах.

И последнее. И это то, с чем оба моих коллеги согласны на сто процентов, а мы заглядывали во много грудных полостей и видели множество разных состояний. Мы видели сердца старые, дряхлые, чрезмерные по объему и покрытые жировыми отложениями. Видели сердца новорожденных размером едва ли не с грецкий орех. Видели внове пересаженные сердца, маленькие и подходящие, и бьющиеся в старых телах, выглядевшие слишком молодыми и задорными для своего окружения. Мы видели сердца с единственным желудочком, как ваше, силившееся делать свою работу вопреки подавляющему неравенству сил. Но есть одно, чего мы никогда не привыкнем видеть, – пустая грудная клетка, в которой сердца нет вообще. И сколько бы пересадок ни делали, мы

действительно так и не привыкли к поразительному потрясению от такого зрелища.

И еще одно, о чем, я догадываюсь, вы захотите узнать. Я не применяла электрошок к вашему новому сердцу. Пошла бы на это, если бы пришлось. Если бы сердце фибриллировало хотя бы на несколько секунд дольше. Но я помнила вашу просьбу и дала ему чуть-чуть больше времени. Просто согрела его и доверилась ему на долю-другую секунды больше – и оно начало биться само. Я помню, вы сказали мне, что это важно. Уготовить ему радушное начало.

Хорошей вам жизни, Вида. Разумеется, я еще увижу вас, но, надеюсь, по прошествии ближайших нескольких лет видеться мы станем гораздо реже. Двигайтесь не спеша, хорошо о себе заботьтесь, но не пренебрегайте тем, что зовется делом бытия, делом жизни теперь, когда вам выпал такой шанс.

С привязанностью и в немалой мере с восхищением,

Хуанита Васкес.

Ричард

Дорогая Майра,

цель этого электронного послания – сообщить вам, что со мной все в порядке. Уже несколько дней собирался написать. С тех самых пор, как благодаря вам смог продержаться у могилы. Извещаю, что со мной все в порядке.

Если теперь я могу быть в порядке!

По правде говоря, я все еще словно в тумане. Я застрял на той самой нейтральной полосе, про которую, помнится, в свое время пытался вам объяснить. Несомненно, не сумел. Хуже того, может быть, я только подумал об этом. И на самом деле про это вовсе и не говорил. С недавних пор трудно стало

отделить одно от другого.

Упомянутая мной полоса – это туманящий шок оцепенения, который следует за душевной травмой. Отпускает порой, но очень ненадолго.

В каком-то смысле это даже благо. На самом деле. Утром просыпаешься безо всякого понимания, где ты. Никакой памяти о том, что потерял. Потом она медленно возвращается к тебе, неся за собой ошеломление. Это ужасно, но легко. Всего-то и нужно – встать да умыться. Потом звонишь приятелю и сообщаешь, что ты встал с постели и умыл лицо, а он говорит: «Классно, Ричард! Ты обязательно выдержишь». Ничего не упоминается о более мелких деталях: пропущенный день работы, неупорядоченная чековая книжка, кипы счетов и уведомлений. Никто не осмеливается предположить то, на чем, уверен, потом все будут неустанно настаивать: жизнь и после такого не останавливается, она продолжается.

В какой-то момент просто переставить одну ногу впереди другой становится поводом для гордости.

В последнее время я частенько говорю о себе во втором лице. Точно не знаю, что это значит.

Впрочем, подозреваю, что впоследствии шлагбаум над моей жизнью не опустится очень уж низко. Только в данный момент я предпочел бы об этом не думать.

Сегодня я почти уже отправился навестить Виду в больнице. Хотя и знаю, вы считаете, что это плохая идея. Вы дали это понять очень ясно, когда мы разговаривали. Все ж, полагаю, раньше или позже, но съезжу обязательно. Это одна из тех мыслей, что выжигает в мозгу дырку на затылке, куда ты ее запихиваешь каждый день ежеминутно. Невозможно перестать ощущать то, как она покоится (или, скорее, беспокоится) там, во временном хранилище. Она становится раздражителем, и тут обнаруживаешь, что поступаешь с ней, как устрица, обволакивающая жемчугом частичку чужеродного тела – из самозащиты.

Я просто-напросто уверен, что не выдержу и навещу ее – вопреки совету – когда-нибудь. Сегодняшний день поначалу казался ничем не хуже другого, чтобы

наломать дров.

Однако случайно прозвонил спасительный колокольчик. Поскольку вначале я должен был устранить небольшую протечку масла в машине. Позвонил механику, но тому понадобилась еще пара деньков, чтобы приступить к починке.

Эта деталь с недавних пор едва не вгоняет меня в оцепенение. Если какой-нибудь невинной душе суждено слететь с дороги под чудесным весенним дождем по масляной пленке, неспособной впитаться в тротуар и попросту собирающейся в лужицу там, где резина касается дороги, очень важно, чтобы в этом масле моего не было ни капли. Чтобы в этом новом бедствии не было моего участия.

То, что прогноз погоды не обещает дождя, на мой взгляд, не имеет значения.

Только подумайте: никакого дождя не обещали в тот вечер, когда Лорри ушла от нас.

Извините, что подбираю эвфемизмы, но я сейчас до того чувствителен, что правду воспринимаю как вид жестокости.

Короче. Я отложил посещение до той поры, когда смогу быть уверен, что у меня не подтекает масло на дорогу и я ничем не осложняю вождение какой-нибудь невинной душе, едущей следом за мной или последующей тем же путем позже. Душе, возможно, незаменимо близкой для кого-то. Полагаю, так или иначе, но любой или любая для кого-то незаменимы.

Вы не находите странным, что мы все разъезжаем, повсюду роняя частички самих себя? Масло, смазку для коробки передач, антифриз. Старую резину. Куда ни поедем – везде оставляем ненужные следы. Хорошо, ладно, полагаю, вы скажете: наши машины – это не мы. Но я не столь уж уверен. Точно так же говорят и про собак, а те растут и через некоторое время становятся похожими на хозяев. Только вот и собаки, и машины, по-моему, нечто большее, нежели созданное нами по нашему подобию.

Отчего я так много болтаю? В жизни никогда болтуном не был.

Не знаю, Майра, почему вы меня терпите. Если, само собой, считать, что – терпите. Наверное, потому, что вы любили Лорри так же сильно, как и я. Может быть, мы два единственных в мире человека, которые в тот вечер так много утратили. Людей связывают узы по всяким разным причинам. Почему бы и не по такой?

Скорее всего, я напишу, когда повидаюсь с Видой. Мы можем сравнить наши впечатления. Несомненно, поймем, как вы были правы.

Всего вам наилучшего.

Ричард

Дорогая Майра,

у Виды я еще не был. Жульничаю. Пишу раньше.

Я должен кое в чем признаться.

Я не переношу лактозу. А, как вам, само собой, известно, у Лорри такой проблемы не было. Вот и держали мы всегда в доме оба вида молока. Только в тот вечер такого, какое пил я, не оказалось. Глупо, если подумать, ведь я же взрослый мужчина. Мне тридцать шесть лет. Не десять. С чего мне обязательно нужно молоко за ужином? Обычная штучка из тех, какие рождает привычка.

Всего-то от меня и требовалось – поломать заведенное правило. Сказать: «Ну и пусть. Воды попью».

Только это от меня и требовалось, Майра.

Всего-то и было делов.

Можете себе представить, чем это обернулось и с чем мне всю жизнь теперь жить?

Я произнес эту фразу уже раз триста с тех пор. Я просыпаюсь ночью, выговаривая ее. А до того, как проснуться, уверен, бормочу во сне.

«Я воды попью».

Я мог бы просто попить воды.

Или, уж в самом крайнем случае, почему я сам не поехал за молоком? Ведь нужно-то оно было – мне. Я принес домой кое-какую работу. Сидел в гостиной, работал на компьютере, и Лорри вдруг сама решила выскользнуть из дома и купить того молока, какое пил я.

Я и знать не знал, что шел дождь. Он был до того слабый, что даже по крыше не стучал. Так, полагаю, побрызгал несколько минут. Дождик на склоне осени. Первый за долгое время. Есть какое-то объяснение в физике. Позже, после того как минут десять-пятнадцать лил сильный дождь, масло смыло с дороги. А поначалу… Нет, как такое возможно? Ведь нельзя же из шланга смыть масло с подъездной дорожки к дому. Я пробовал. Только тут что-то связано с первыми минутами дождя. Вода ложится поверх масла. Или что-то подобное. Мне как-то разъясняли. Но с тех пор я не расспрашивал, потому что невыносимо выслушивать это еще раз.

Несвязное какое-то признание. Зато теперь я высказал это другому человеку, может, теперь наконец-то смогу уснуть.

С другой стороны, может, и нет.

С наилучшими пожеланиями.

Ваш зять (я все еще зять?)

Ричард

Утешительный камень

Когда я приехал в больницу, мать Виды, Абигейл, куда-то пропала, ее нигде не могли найти.

Не очень понимаю, почему, но для меня было важно отыскать ее.

Может быть, причина была в ощущении, будто я знаю Абигейл, поскольку получил от нее письмо, где шла речь о возможной встрече нас всех, как только Вида покинет отделение интенсивной терапии. И подавалось это как самая нормальная вещь в мире. Нечто, никоим образом не способное разрушить и без того еле тлеющую жизнь. Будто это удержит кого-то от поспешности. Будто такая встреча не способна причинить боль.

Обратите внимание, я говорю так, будто сам никоим образом не несу за это ответственность. Но я обязан донести правду, а она такова: если б я захотел остаться безымянным, чтобы Абигейл никогда не узнала, как со мной связаться, то смог бы. По сути, анонимность – стандартная практика в донорских договорах. Донорская программа побудила ее написать мне. Но там просто так адресов не дают. Дальнейшему контакту способствовал я. Потом, в тот момент, когда указанный контакт принял мое предложение, я пошел на попятный и стал ощущать, будто мне навязываются.

И все же – я в больнице, готовый к драме.

Почему? Трудно сказать. Но я догадываюсь.

Полагаю, хотелось видеть в этом одну из тех душещипательных историй в вечерних новостях. Жизнь прорастает из смерти, и даже самая жуткая трагедия способна обернуться чудом. И вот она, эта осчастливленная молодая особа, лежит на больничной койке, дышит. Живая! Живое доказательство.

Какая награда для погибшей женщины и ее ввергнутого в горе семейства!

Стоя тогда в голом больничном коридоре, я, верите ли, начинал прозревать, что впереди мне уготовано нечто большее, чем простая встреча. Это будет что-то серьезное.

Может быть, как раз поэтому-то мне и было важно найти Абигейл. Она была мне партнером в самоотречении, и я нуждался в ней. Возможно, с ее помощью я сумел бы отыскать свой путь.

Я даже спросил дежурную сестру на этаже, где лежала Вида, но, насколько той было известно, мамаша отправилась домой.

У меня было два варианта. Вернуться позже. Как будто на поездку в больницу не ушел целый недельный запас моих и без того скудных сил. Или заставить себя войти в палату к девушке одному, непредставленному.

По-видимому, был еще и третий вариант: забыть об этой сомнительной идее. Признать, что я наткнулся на красный свет, возможно, и поделом.

Только такой вариант я отмел, уже пройдя душой точку невозврата в этой истории с Видой.

Решил, что в первый раз увидеться с нею один на один как-то предпочтительнее. Не будет никого, кто мог бы наблюдать со стороны, кто заметил бы, что я заявился с неким намерением, эдаким смутным ожиданием выгоды. Особенно, если такое ожидание окажется ошибочным. Если я сяду в лужу.

Я простоял перед дверью до того долго, что подошли две медсестры и недоуменно на меня уставились. У одной из них застрял вопрос в поднятых бровках. Мол, мне непременно что-то надо. Мне и было надо. Только у них вряд ли такое с собой имелось.

Я вошел.

Ждал, что она будет спать, а она устроилась полусидя, опираясь на подушку, и не сводила с меня темных широко раскрытых глаз. Было в них что-то поразительное, что-то необузданное и жгучее. А я-то ожидал увидеть ее по крайней мере слабенькой и наполовину без сознания. Всего-то несколько дней минуло после такой болезненной операции, может, ее пичкают каким-нибудь сильным болеутоляющим? Если так, то с чего ее глаза выглядят так естественно?

Вообразить не мог, что ей девятнадцать лет, хотя из письма ее матери знал, что так оно и есть. Ее можно было принять за старшеклассницу: весит очень мало, хрупкая. Наверное, на грани анорексии, волосы грязновато-белокурые, может быть, и в самом деле грязные, а может, просто так смотрятся. Под глазами темные круги, тело какое-то странно вялое и бездвижное, лишь глаза живут полной жизнью. Один только большой палец правой руки в движении: как заведенный трется и трется по одному месту какого-то маленького овального предмета.

В вырезе больничного халата виднелась верхушка шрама, воспаленного, бугристого, припухшего. От него в желудке началось жжение, тошнота поднялась так, что захотелось сесть.

– Вы тот самый, – произнесла она. – А?

Я даже не подумал спрашивать, как она догадалась. Мне казалось, что это у меня на лице написано, что в палату я вошел с таким выражением, какое могло быть только у одного-единственного человека в мире.

– Да, – ответил я. – Тот самый.

Подойдя поближе, я сел на жесткий пластиковый стул. Помню смутное чувство разочарования. Точно не скажу, что я рассчитывал увидеть. Что бы оно ни было, я этого не увидел. Просто незнакомка, девушка, которую я прежде никогда не встречал.

Она повернула голову, следя за мной пристальным взглядом. То, как оценивающе она рассматривала меня, вызывало ощущение неловкости, а повести себя так же по отношению к ней я себе не позволял. Ни с того ни с сего задумался, куда устремлялся ее пристальный взгляд, когда я был в каком-то другом месте. Все это было из-за чувства, что в мире существую я один, а все остальное воспринималось сном.

– Моя мамуля не шутила в письме, – сказала она. – Тогда, по правде, все решалось, наверное, в несколько дней. Именно столько мне оставалось до смерти. Вы и впрямь получили возможность взглянуть смерти прямо в лицо. Вы знаете?

– Это потому-то вам понадобился утешительный камень? Ведь это утешительный камень у вас в руке? Так?

Она поднесла камень к лампе, словно собиралась изучить его получше. Или позволяла сделать это мне. Или то и другое.

– Идите сюда, – позвала она. – Хочу вам его показать.

Я придвинулся поближе, не очень-то понимая, что пытался увидеть.

– Видите, какой он вот тут гладкий? – Она указала место большим пальцем. Потом взяла камень за края.

Я глянул пристальнее, но не очень понял, увидел или нет. Может быть, и было чуточку глаже. Разница была не очень заметна.

– Я большим пальцем сделала, – сказала она. – Сточила камень.

Я потрогал подушечку ее большого пальца. Хотелось нащупать, увидеть, есть ли мозоль. Убедиться, что сточилось больше. Кто кого на самом деле побеждал.

Неожиданное касание пронзило нас электротоком. Или на самом деле током только меня прошибло. Как узнать про нее? У нее и впрямь на большом пальце была грубая мозоль вроде тех, которые образуются у гитаристов на кончиках пальцев.

– Это с водой схоже, – заметила она. Я понятия не имел, что было за сходство с водой. Я ничего не замечал. – Ведь и не подумаешь, что вода может сточить камень. А она это делает. Просто на это требуется время. Я хочу посмотреть, сумею ли протереть маленькое углубленьице прямо в центре камня. На это, может, немало времени уйдет. Но время у меня есть. Теперь есть.

– Я должен идти, – выговорил я.

– Вы верите в любовь с первого взгляда?

Не колеблясь, я выпалил:

– Нет.

– Нет? Нет?! Вот не думала, что у кого-то хватит цинизма сказать «нет».

Ее большой палец вновь принялся совершать привычные круговые движения по утешительному камню. Полагаю, если кто поставил целью протереть ложбинку в твердом камне, то отвлекаться от этого занятия не стоит.

– Все же остаюсь при своем, – сказал я. – Только это не цинизм. Как раз напротив. Во мне слишком много почтения к любви, чтобы поверить в такое. Я не признаю даже понятие страстной влюбленности. Ее безумную составляющую, я имею в виду. Всем нам уж слишком бы повезло, если б любовь была тем, в чем мы раз – и оказались. Вроде: «Забавная со мной штука сегодня случилась. Шел по улице, споткнулся и в какую-то любовь шмякнулся». В любовь не шмякаешься без ума, к ней восходишь. Тут требуется тяжкая работа. Вот почему я убежден, что нельзя полюбить того, кого не знаешь. Любить и значит знать того, кого любишь.

Тут я остановился, перевел дух. Такое ощущение, словно с похмелья поплыла голова, будто я и не в палате вовсе, так случалось в последние дни. Еще я понял, что наговорил куда больше, чем нужно было.

В последнее время слишком много болтаю. В тех редких случаях, когда рядом есть слушатели. А я болтуном никогда не был.

Все меняется.

– Значит, мне надо вас узнать, – сказала Вида.

Дверь палаты распахнулась, вошла какая-то женщина. Я понял, что это Абигейл, мать Виды. Ошибки быть не могло. Я заранее знал, что так будет.

Я вскочил на ноги, будто меня поймали на преступлении.

Мамаша запрокинула голову, словно вопрошая, наверное, надеялась, что я сам представлюсь, не заставляя ее доходить до такой грубости, чтобы спрашивать.

– Ричард Бейли, – сказал я.

Лицо у нее смягчилось, Абигейл поспешила пересечь палату, она широко раскинула руки и обхватила меня. И не отпускала. Я неловко стоял, не слишком усердствуя с ответными объятиями. Через некоторое время мне удалось просунуть ладонь ей на спину, эдак по-братски похлопать, и она выпустила меня на волю.

Я понял, что все это время не дышал.

Абигейл была маленькой, низенькой, ей приходилось по-журавлиному вертеть шеей, запрокидывать голову, чтобы заглянуть мне в лицо. А я не из великанов. В ее глазах читалось многое и многое предназначалось мне. Мне все это было не нужно, и я отвел взгляд.

– Вы получили мое письмо, – сказала она.

– Да. Спасибо вам за него.

– Я говорила совершенно искренне, мистер Бейли, хочу, чтоб вы знали это. Мы так соболезнуем вашей утрате. Нам бы не хотелось, чтоб вы сочли, будто оттого, что нам она пошла на пользу, мы не сочувствуем вам.

– Я так не считаю.

Я ощутил потребность убраться вон. Желание вернуться в свое замкнутое состояние. Мне захотелось оказаться дома, укрыться покрывалом – и чтоб никто меня не рассматривал. Я чувствовал, что не в силах выдержать этого.

Во мне кончилось горючее.

– Мне такое и в голову не пришло бы, – сказал я. – Вы сами чуть не потеряли любимого человека, так что, наверное, понимаете лучше других.

Я двинулся к двери.

– Вы же не уходите? – воскликнула Абигейл.

– Приходится. Я еще приду. Я вернусь, когда… Мне просто необходим свежий воздух, – произнес я. – Или еще что.

В двери я оглянулся на Виду, и, само собой, она все так же пристально смотрела на меня. Глаза по-прежнему были единственным, что жило полной жизнью, а большой палец – единственным, что двигалось.

– Спасибо за сердце, – произнесла она.

Поразительно простые слова среди этой взметнувшейся круговерти жизни, смерти и признательности.

– Носите на здоровье.

Я повернулся, направляясь к выходу. Но потом, по причине, которую трудно объяснить, еще раз глянул через плечо.

Вида держала какую-то книжку без названия на обложке и взяла ручку. Стало немного любопытно. Уж не ведет ли она дневник своей жизни? Может, торопится записать подробности нашей встречи, пока они не забылись?

Я не стал оставаться, чтобы узнать.

Я проехал сорок миль до дома и завалился спать на двое суток.

Пока лежал, задумался о дневниках. Я их никогда не вел. Никогда и не думал о таком. Есть ли в них утешение? Должно быть, иначе люди не утруждали бы себя писаниной. И все же не было уверенности, что я способен представить, в чем это самое утешение таилось бы.

С другой стороны, можно ли вообще правильно представлять себе утешение, в особенности если вокруг совершенно новый и неизведанный мир?

Допустим, я до сих пор не уверен, видел ли я в руках Виды дневник или это было нечто другое. Но сегодня утром, выбравшись наконец-то из постели (два дня

спустя), я решился выйти из дому, купил эту записную книжку и сделал заметку о моей встрече с Видой и Абигейл.

Честно, не могу сказать, стало ли мне легче. Захватывает – это точно. Есть что-то в том, чтобы поведать историю, даже себе самому, это будит в нас желание продолжать повествование.

А вот утешение… Думаю, потребуется гораздо больше, чтобы прийти в норму.

Будет ли продолжение моей истории с Видой и Абигейл? Я не только не знаю этого, но и не уверен даже, чего бы хотел на самом деле.

Впрочем, так, на всякий случай, книжицу я купил довольно толстую.

Дорогой Ричард,

все гадаю, не попытаться ли мне еще разок отговорить тебя от поездки на встречу с этой девушкой.

Вот что меня беспокоит.

Ты спросил, верю ли я в то, что сердце и вправду вместилище всех человеческих чувств. У меня нет уверенности, что ты помнишь, но, когда я приехала на похороны, ты спросил меня об этом. Просто ни с того ни с сего.

Сомневаюсь, что я действительно в это верю. Сомневаюсь, что прежде вообще задумывалась о таком.

Поначалу я не придала значения твоему вопросу. Или, во всяком случае, чуть-чуть. Я приняла это за обычную любознательность.

Но вчера, ложась спать, я свела это кое с чем еще, что ты сказал мне там, на похоронах. Стоило ли собирать твои слова вместе? До сих пор не знаю. Но меня беспокоит то, до чего могут довести такие мысли.

Ты говорил, что однажды смотрел какую-то передачу, год или около назад. Про людей с пересаженными органами. Им казалось, что они ощущают какую-то связь со своими донорами, людьми, маленькие частички которых носят в себе. То неясное воспоминание, то любимая еда.

Ты помнишь, как говорил об этом?

Мне пришло в голову, что, возможно (только возможно!), ты способен придать слишком большую эмоциональную значимость сердцу Лорри. Словно бы оно в силах по-прежнему любить тебя так, как любила она. Как будто это рисованное сердечко с открытки на Валентинов день, а не настоящее. Но оно – орган, Ричард. Всего лишь орган. Оно качает кровь, вот и все.

Прошу извинить, что изъясняюсь так прямо. Помнится, ты признался, что правда для тебя сейчас – разновидность жестокости. Но на самом деле по этой причине и я пишу это. По-моему, лучше уж услышать это от меня, нежели доводить себя до вскрытия вен.

Ты сейчас очень раним, Ричард. Мы понесли ужасную утрату. Не ходи на встречу.

Это всего лишь орган, Ричард. Он не несет в себе ничего, кроме крови. Теперь – чьей-то чужой.

С любовью и извинениями,

твоя теща (да, по-прежнему)

Майра

Майра, дорогая,

вы уверены?

Есть ли хоть малейший шанс, что вы ошибаетесь?

К тому же уже слишком поздно. Простите.

Не могу сказать вам, кто прав, а кто неправ в этом деле, потому что присяжные все еще совещаются.

С наилучшими пожеланиями,

Ричард

Резина и дорога

Вида позвонила мне из больницы. Поздно, почти в час ночи.

– Я вас разбудила? – спросила она.

Само собой, разбудила.

– Откуда вы узнали номер телефона?

– Он же… в справочнике?

– А-а. Правильно. Так и есть. Вида, что у вас на уме?

– Просто я думала про фразу: «Где резина сходится с дорогой». По-моему, она из какой-то старой рекламы шин. У меня была как-то одна приятельница по переписке, которая, случалось, пускала ее в ход… Ну, знаете. Типа фигура речи. Она говорила: «Ага, тут-то резина и сходится с дорогой». Она имела в виду итог. Мол, к этому-то суть дела и сводится, понимаете? И это еще одно выражение, о котором я раздумываю. Суть дела. Оба они обозначают что-то и вправду важное. Я просто подумала, что фраза с резиной поинтереснее… из-за того, что случилось с вашей женой.

Мы оба надолго замолчали.

– Что ж, совершенно точно: конечный итог настал, – сказал я.

Фраза недвусмысленно означала конец разговору.

Затем, решившись придать ему иное, более чистое направление, я произнес:

– Хотел вас спросить, ведете ли вы дневник.

– Да-а, веду. Впрочем, я зову его пустой книгой. Но не должна. Потому как она больше не пустая. Мне ее Эстер подарила. А вы?

Как будто мне само собой известно, кто такая Эстер. Словно все подробности ее жизни очевидны.

– Вообще-то, – сказал я, – да. Веду.

И уж готов был признаться, что начал совсем недавно, что эту привычку я перенял от нее. По-моему, я напрашивался на какие-то указания. Как будто в этом было нечто большее, чем делал я. Как будто мне нужен был эксперт, чтобы вывести на верный путь.

Не успел я пуститься в объяснения, как она произнесла:

– Ничего себе! Это и вправду круто. У нас есть что-то общее.

И тут я не смог разочаровать ее.

– Вы приедете еще раз навестить меня? – спросила она, так и не дождавшись ответа.

– Да. Но прямо сейчас я снова отправлюсь спать.

– Обещаете, что приедете?

– Да.

Пообещал, чтобы покончить с разговором. Может быть, поеду, а может быть, нет. Только я четко знаю, что выбор за мной. Я мог дать слово, но все же не сдержать его. Мог попросту нарушить обещание. Люди так все время делают. Но не я. И все же нарушенное обещание вполне обычное явление.

Вида позвонила мне из больницы. Было поздно. После двух.

Спустя пять дней. Пять. В точности. Я считал.

– Вы же обещали, – сказала она.

– Не обещал, что приеду через пять дней или раньше. Просто, что приеду.

– Так вы же сказали, что навестите меня в больнице. А если вы прождете еще дольше, я буду дома.

– Нет. Я не так сказал. Вы спросили: «Вы приедете еще раз навестить меня?» – и я сказал «да».

А не слишком ли я увлекся разбором слов? И, коль скоро речь зашла об увлечении, не выдаю ли я себя с головой вниманием, какое уделяю всякому и каждому слову в нашем общении. Может быть, она посчитает, что у меня просто фотографическая память. Может быть, она и не подумает, что я воссоздаю разговоры вместо сна.

– Мне сейчас скучно, – произнесла она. – Лежать в больнице такая тоска. Вы хоть представляете себе, как долго я уже тут?

– Хм. Нет. У меня со временем как-то не очень ладится.

– Ну так я тут целую вечность. Попала еще почти за месяц до операции. Пожалуйста, приезжайте ко мне завтра.

– Возможно, – сказал я.

– Так не годится. Обещайте.

– Нет. Обещать не могу.

– Но вы же уже это сделали. Вы мне уже дали обещание. Вы же не можете забрать обратно. Так нечестно.

– Постараюсь изо всех сил. Я стараюсь как могу, Вида. И это все, на что я способен.

– Почему это так трудно для вас? – спросила она.

Это меня разозлило. И больше, чем я мог себе представить. Какая-то ерунда, а мне пришлось объясняться. Столько сил попусту.

– Вам не очень-то ведомо горе, – сказал я. – Ведь так?

Сразу же молчание в трубке. Потом:

– Мне не очень-то ведомо горе? Вы так только что сказали? Это мне-то горе неизвестно? Мне?! Да это все, что мне вообще известно. Не ведомо мне как раз почти про все другое.

– Это многое объясняет в таком случае, – заметил я.

– Что объясняет?

– Возможно, почему вы с трудом распознаете горе, когда сталкиваетесь с ним.

– Обещайте мне, что приедете.

– Хорошо, – отозвался я. – Обещаю.

Какой же я идиот! Раньше я таким не был. Или по крайней мере уверен, что не был. Зато теперь – стал. Это одно из весьма немногого, что мне известно наверняка.

Следующим вечером я доехал до больницы и встал на автостоянке.

А дальше – ни-ни.

Был довольно поздний вечер, что само за себя говорило: время посещений уже заканчивалось. У меня в запасе оставалось всего около пятнадцати минут.

Солнце нельзя сказать чтобы стояло все еще высоко, но того, что оно заходило, тоже не скажешь. Оно сияло над больничной кровлей, слепя мне глаза. Я прикрыл их ладонью, что не очень-то помогло, если вообще подействовало.

Понял: в здание я не войду.

Поднял взгляд на окно, любое из которых могло быть ее.

Поймал себя на том, что стал дышать осознанно: напоминал самому себе о каждом вдохе-выдохе, да так сосредоточенно, будто иначе организм мог бы разойтись по швам (готов поклясться, что это было недалеко от истины), и тосковал по дням, когда дышал вполне естественно, совсем о том не думая.

В раме одного из окон виднелась какая-то фигурка. Пациентка, посетительница. Откуда мне знать? Я стоял не настолько близко, чтобы увидеть. Могла бы быть даже Вида: нет доказательств, что не она. Только, похоже, шансов на такое совпадение не было.

Потом до меня вдруг дошло, что эта фигура меня видит куда лучше, чем я ее: меня-то солнце заливает ярким светом и глаза мне слепит. Предположим, это была она. Вида или нет, только я почувствовал себя уязвимым. Обреченным на неудобство. Мне вдруг показалось, будто шагаю по не совсем замерзшему озеру. Чувствую, как подается лед. Гадаю, не станет ли следующий шаг тем, когда я провалюсь. Под воду уйду.

Залез обратно в машину и поехал домой.

Я либо жуткий трус, либо наконец-то образумился. Зависит от того, кому, Виде или Майре, дать право вынести решение. А если бы такое право было у меня? У меня либо собственного мнения не бывает, либо я разрываюсь. Либо мнение мое

разрывается.

Полагаю, это за посещение не засчитывается.

И, как мне кажется, не считается, что обещание сдержано.

Вида позвонила мне из больницы. Было еще рано – для нее. До девяти часов.

Я все это время не сидел дома.

– Я вас видела, – сказала она.

– Могли и ошибиться.

– Нет. Я не ошиблась. Я в окно смотрела. Я всегда в окно гляжу. Единственное, куда я еще в силах смотреть. Мне даже эти жуткие больничные стены видеть больше невтерпеж. Они меня с ума сводят. Они меня убивают.

– Вы скоро будете дома.

– Я видела вас на стоянке. Почему вы не пришли?

– Трудно понять, что видишь в такой дали.

– Откуда вы знаете, с какого расстояния я вас видела?

– Вида, я устал. Я собираюсь ложиться спать.

– Почему вы не пришли?

– Мне незачем объясняться перед вами.

– Но вы же обещали, что придете.

– Это мне урок на будущее.

– Так нечестно. И если вы скажете, что вся жизнь нечестная, то я завизжу.

– И не собирался такого говорить.

– Что ж тогда вы собирались сказать?

– Собирался сказать: «Спокойной ночи, Вида».

– Вы знаете, что я вам снова позвоню.

– Да, – ответил я. – Это я знаю.

Дорогая Майра,

наверное, мне следовало послушаться вас. По-моему, вы были правы.

Любящий вас

Ричард

P.S. Впрочем, на самом деле я не считаю, что все это связано с вопросом, который я вам задал на похоронах. Не думаю, что я настолько потерян, что уверовал, будто вся любовь, какую Лорри накопила за целую жизнь (в особенности любовь ко мне), все еще обитает в сердце. По-моему, тут западня попроще. У Виды есть частица Лорри. Настоящая частица женщины, которую я люблю. Внутри. Живая. Бьется. Она ее носит. Разве это оставило бы кого-то равнодушным?

Надеюсь на это. Хочется верить, что хоть я и полностью растерялся, но я не совершенно потерянный.

Кстати. Сказанное мною про связь с сердцем – это правда. Насколько я знаю. Во всяком случае, в определенной степени это правда. За исключением того, в чем это неправда. Если исключить рассмотрение в свете того своеобразного феномена, при котором что-то может быть правдой и неправдой одновременно.

Боже праведный. Послушайте меня. Я стал адвокатом конфликтующих реальностей. Или, может быть, это избыточно. Может быть, только такого рода адвокаты и существуют.

Боже, помоги нам всем.

P.P.S. Сегодня я сложил в коробки одежду Лорри. Только и всего. Надеюсь, вы не ждали от меня большего. Просто уложил все в коробки. Перетянул их клейкой лентой поверху. Я не вынес их из дому или еще что. Этого мне никогда не сделать.

Будем разумны.

Ричард, дорогой,

поверь, пожалуйста, что мне нет никакой радости оказаться правой в таком деле.

В твоих объяснениях есть смысл. Часть из них даже правдива.

Только мне все еще не дает покоя один вопрос: а как быть с той пожилой женщиной, которой достались роговицы Лорри? Почему ты не отправляешься заглянуть в ее глаза?

Взаимно любящая тебя

Майра

P.S. Интересное совпадение. Ты паковал коробки и стягивал их лентой. Я же разрезала скотч на коробках и выкладывала из них все. Ну, из одной коробки, во всяком случае. Сегодня прошлась по чердаку и нашла целый ящик с фото девочек в детстве. По-моему, больше, чем на половине из них есть Лорри, снятая еще ребенком. Разумеется, они очень много значат для меня, и я бы никогда не смогла расстаться с ними целиком. Но готова поделиться ими с тобой.

Майра,

о да, прошу вас! Прошу, все, что сможете подарить мне. Столько, сколько сами позволите себе отдать, благодарю вас. Это так много значило бы для меня.

Понимаете, я тяну со своей стеной. Позавчера пошел на гаражную распродажу и накупил целый ящик фоторамок самых разных размеров. В большинстве 8?10[4 - То есть 8 на 10 дюймов, или 20 на 25 см.], но вообще-то всего понемногу. Выбор велик, а набрал я всего почти даром. Цены классической гаражной распродажи. Что немаловажно, поскольку, само собой, я не работаю.

Пока нес покупки до дома, то в тот момент был почти счастлив. В общем.

Зато потом пришел домой и выяснил, что у меня совсем немного фото без рамок. Я не позаботился проверять. Хотелось думать, что мои фотозапасы неисчерпаемы. Бездонны. Едва не до того доходило, что я себя обманывал, полагая, будто еще больше фотографий появится, словно бы по волшебству, на дне темного ящика комода или на компьютере.

Едва, но не доходило. Уж не настолько я плох.

Глупо, да?

Я тянул с добавлением фотографий на стену. Дошел до одной в день. И я понимаю, прозвучит безумно, но меня ужасал тот момент, когда мне придется остановиться. День, когда я увижу, что не осталось фотографий, которые

следовало поместить в рамку и повесить.

Я чувствую себя сумасшедшей Сарой Винчестер, построившей свой безумный Таинственный дом Винчестеров[5 - Загадочный и мистический дом, самая известная достопримечательность городка Сан-Хосе (Калифорния, США). В 1884 году дом был приобретен Сарой Винчестер, вдовой Уильяма Винчестера, сына Оливера Винчестера, изобретателя знаменитой винтовки. После смерти мужа Сара съездила в Бостон к медиуму, который «пообщался с духом ее покойного супруга». Дух усопшего якобы сообщил, что злоключения Сары (смерть единственной дочери вскоре после рождения, относительно ранняя смерть Уильяма) связаны с тем, что на семье лежит проклятие погибших от винтовки, созданной Оливером. Дабы избежать дальнейших проблем, женщина должна была построить особый дом, в котором духи не смогут навредить ей.] (неприятно близко к месту, где я жил), чтобы задобрить призраков всех душ, погибших от пуль, вылетевших из винтовок «винчестер». Все достраивала и достраивала его, совершенно не желая завершения из страха перед тем, что произойдет, если она когда-нибудь прекратит строить.

Не знаю, что, по ее мысли, должно бы произойти. То есть не совсем правда, что не знаю. Должен знать, как и любой, кто работал там гидом, когда учился в старших классах (Майра, я вам об этом когда-нибудь рассказывал?). Я до сих пор наизусть помню свои пояснения экскурсантам по всему маршруту. Но я не могу вам сказать, что в действительности было у сбрендившей старухи на уме и каких бед она боялась, если когда-нибудь остановится.

Знаю только, что был бы по-настоящему признателен за фото Лорри.

Что бы я без вас делал, а, Майра?

Премного благодарный и сильно любящий вас

Ричард

P.S. Сегодня позвонил Роджер. Из университета. Похоже, ему хочется, чтобы у моего отпуска уже появилась конечная дата. Как будто я могу попросту, невзирая на горе, определить день, когда полегчает до того, что я снова смогу работать. А еще полагаю, он хотел, чтобы я взял да и огласил ему эту дату. Все

это совершенно нелепо, но в то же время и полностью подавляет. Под конец нашего разговора я раз-другой только что трубку не бросал. Может быть, мне понадобится новая работа, когда я буду готов возобновить преподавание. Или, возможно, он проявит понимание. В данный момент не нахожу в себе ни клеточки, которая пришла бы от этого в волнение.

P.P.S. Еще раз благодарю за фото. За все, какими вы позволите себе поделиться.

Провода

Все еще в пижаме и халате я пошлепал наружу забрать почту. Босой. Нечесаный.

Признание далось бы легче, если бы почту доставили утром. Давайте на минуту сделаем вид, что именно утром это и произошло.

Не спеша я открыл почтовый ящик. Будто в нем могли находиться яд, или взрывчатка, или, еще хуже, что-нибудь, требующее действий, например какой-нибудь счет.

Внутри обнаружил отпечатанную в типографии листовку о пропавших детях. «Вы не видели меня?» Я не видел, но что-то сжалось в груди. Все эти утраты… Потом сообразил, что родители могут по крайней мере надеяться, что снова встретят своих детей, и сочувствие пошло на убыль. Или, во всяком случае, притупилось. Отвратительно, но – так и было.

Под листовкой находился какой-то каталог и толстый большой конверт экспресс-почты, как я понял, от Майры. Правда, в обратном адресе имени не было, но я узнал название улицы, да и никого больше в Портленде я не знаю.

Сердце забилось слишком часто. И – болезненно.

Я понес конверт в дом и вскрыл его, все еще стоя в гостиной. Извлек объемную пачку любительских снимков.

Правду сказать, развернуть их веером и рассмотреть не получилось: не было на что положить. Попытался, но кончилось это тем, что часть фотографий разлетелась. Ну, я и рухнул на колени. В буквальном смысле – рухнул, даже больно стало. Впрочем, болью отдавалось все.

Я разгреб снимки перед собой.

Не сказал бы даже, что рассматривал их один за другим. Просто оставил рассыпанными перед собой наподобие какого-то языческого идола, и оставался стоять перед ним на коленях, и…

И ничего.

Просто стоял там. На коленях. Перед ними.

Я бы предпочел сообщить, что рыдал, как дитя. По правде, я никогда не плачу. С какой любовью рассказал бы я о чувствах! Только, по-моему, у меня не осталось ничего. Если не считать пустоты. Просто пустота небытия, которая, так и кажется, распухает в груди, давит. Такой громадной массе небытия, чтобы развернуться, необходимо пространство.

В последнее время у меня появилось ощущение, как будто смерть Лорри тряхнула меня так, что вырвала мой провод с вилкой из розетки в стене. Вот и нет теперь ничего. Никакого источника энергии.

Или, может быть, Лорри и была той питающей станцией, к какой я был подключен. Если не считать, что я ходил и говорил еще до того, как встретил ее.

Но, может быть, встреча с ней изменила все.

Не могу сказать, сколько времени прошло, прежде чем я сумел собрать снимки. Мне показалось, что час, но, может, всего лишь минута. Понятия не имею. Если я не способен даже назвать или обозначить то, что творилось в моей собственной груди, как можно доверять мне в том, что касается времени?

Через некоторое время (понятия не имею, во сколько) я отделил-таки четыре снимка. Безо всякого особого разбора. По сути, я выбрал те, что лежали на ковре

изображением вниз.

Остальные я осторожно собрал и опустил обратно в тот же конверт, более или менее не просмотренными. По меньшей мере, нерассмотренными. Ничто не бросилось в глаза, ничто не запомнилось.

В моем безумии есть метод. Что, само собой, не делает его менее безумным. Просто оно проявляет постоянство, что лучше, чем ничего.

Когда смотришь на какую-нибудь фотографию слишком много раз, или чересчур долго, или и то и другое вместе, то теряешь ее. Она западет в память. Наизусть. И какое бы чувственное воздействие она на тебя ни оказывала, оно уменьшается вплоть до никакого. После можешь часами пялиться на нее, стараясь воссоздать первоначальный эффект, но от этого только хуже становится.

К тому же получить новые фото Лорри, которые я никогда не видел, было событием до того монументальным, что мне было невыносимо предвидеть, как оно закончится. Хотелось воссоздавать его – снова и снова. Каждую неделю в течение месяцев. По три-четыре снимка за раз.

Или, может, мне пришлось бы уменьшить их количество еще сильнее. До двух за раз, а то и до одного.

Я перевернул те, что держал в руках.

На первом снимке Лорри было лет пять-шесть. Объектив подловил ее вместе с двумя сестренками и выводком недавно родившихся котят. Я рассматривал, как цвет волос сестер сливался в один. Три девочки были настолько похожи, что различались только по росту, и я вглядывался в их волосы цвета темного меда, остриженные одинаково коротко. Лорри протягивала руку к спинке взъерошенного котенка.

Я перевернул следующее фото.

Лорри в возрасте двух-трех лет, одна, одетая в узорчатое платье, доходившее ей лишь до половины поразительно худых бедер. Застенчиво улыбается, глаза потуплены. Позади нее дверь, по-видимому, какой-то крепости или замка. Что-то

вроде фото на отдыхе.

Третий. Лорри в возрасте тринадцати лет, или, может быть, пятнадцати, или где-то в этом пределе, стоит между родителями, одетая, похоже, в платье из шифона, которое не идет ей ни чуточки. И кажется, она это тоже понимает. Ее явно вырядили по какому-то случаю, и от этого она чувствует себя как рыба, вытащенная из воды, и это заметно. И опять: взор потуплен, глаза никак не хотят смотреть в объектив.

Я немного помедлил, прежде чем перевернуть четвертый снимок. Гадал, а вдруг на нем она глядит прямо в фотоаппарат. Так вся и брызжет уверенностью.

Перевернул.

Лорри с двумя сестренками. Очевидно, отправляются на какую-то вечеринку или на колядование в Хеллоуин. Сестры Лорри обрядились в призрака и ведьму. Лорри же единственная из трех выбрала костюм, не имевший отношения к ужасам. Пират. Лорри была пиратом. Такой я бы мог ее снять. Я видел в ней пирата, уверенного, самодовольного. Готового стать победителем. Но на фото она уставилась глазами (простите, одним глазом, другой был скрыт под черной повязкой) в пол.

Лорри в детстве была застенчива? Ей трудно давалась уверенность в себе?

Впервые за долгое время я был потрясен до глубины души. То есть я еще был способен что-то ощущать. Она была так уверена в себе, когда я познакомился с ней, каких-то жалких девять лет тому назад. И это одно из того, что привлекло меня в ней. Такое приятное чувство: она знала, куда идти, – почти всегда, почти инстинктивно, даже если я не понимал.

Если бы она была застенчивой молоденькой девушкой, я должен был о том знать. Почему не знал? Почему не спрашивал?

Почему не встретил ее раньше?

Я отправился обратно в постель и долго спал, готовясь вставить в рамки четыре фотографии и повесить их на стене.

Я сидел, неудобно опершись спиной о неудобную спинку неудобного стула и неотрывно смотрел в окно, избегая тем самым глядеть в лицо Абигейл. Столики в кофейне были из тех, что высоко вздымались над полом так, чтобы пользоваться ими можно было и стоя. От этого и стулья были до странного высоки, с перекладинами, куда ставить ноги. Но Абигейл не дотягивалась до перекладины, а потому болтала ножками, как малышка-детсадовка. Она одергивала платье, часто переминалась с боку на бок, жестом руки выражая досаду, что не в силах не обращать внимания на такое неудобство.

– Спасибо, что согласились встретиться со мной, – сказала она.

– Не стоит благодарности.

– Из сказанного в сообщении я знаю, как вам, должно быть, тяжело выбираться из дому и хоть что-то делать.

– Да, – кивнул я. – Так и есть.

– Ну вот… Так что спасибо, что пришли сюда встретиться со мной.

Только я уже однажды отпускал ей грехи, и казалось слишком утомительным делать это еще раз. Людям следовало бы объединять свои запросы на меня. Ни в коем случае не растрачивать мои ресурсы сверх необходимого.

Я вновь глянул в окно.

– У вас есть дети, мистер Бейли?

– Ричард, – поправил я.

Еще один пример: я уже в третий раз попросил называть меня Ричардом.

– Ричард.

– Нет. Детей у меня нет.

– Ваша жена не хотела детей?

– Она работала с ними. Учительницей была у четвероклашек. Так что детишек она любила.

– Приходилось.

Влезла. Перебила, в общем-то.

– Но порой мы задумывались, а не причина ли ее большой любви к ним то, что просто нужно было проводить с ними требуемое количество времени. Если вы понимаете, о чем я. Она узнавала их, радовалась им, но ей также надо было отправлять их по домам. Не скажу, что она намертво была против детей. Мы говорили об этом. Полагаю, считалось, что у нас впереди еще много времени, чтобы прийти к решению.

Абигейл опустила взгляд в чашку с чаем и дала себе помолчать. Своего рода натужная (или, по крайности, вынужденная) почтительность. Потом заговорила:

– То, о чем я скажу дальше, возможно, трудно будет понять, если у вас никогда не было ребенка. Да и на самом деле даже если бы у вас были дети, то никогда не было смертельно больного ребенка. У большинства людей таких не бывает. Так что, возможно, это трудно будет понять. Только с самой первой ночи, когда родилась Вида, меня убеждали готовиться к тому, что я ее потеряю. Но если ты мать, то в тебе есть та часть души, которая неспособна этого принять. Даже если знаешь: ты ничего не сможешь сделать. Просто невозможно принять все как оно есть. Никак нельзя. Вот и вкладываешь все силы до капельки в поддержание жизни своего ребенка. А через некоторое время начинаешь чувствовать, что на самом деле именно ты поддерживаешь в ней жизнь. Вы понимаете. Одной лишь силой воли.

– Вы, стало быть, клоните к тому, что попались в ловушку собственных мыслей.

– По-видимому, это можно назвать и так.

Меня потянуло домой, и я попробовал не обращать на это внимания. Но, одновременно с этим, это подхлестнуло к честности.

– Мне не ясно, в чем вы пытаетесь меня убедить.

– Я чувствую себя виноватой.

– В чем это?

– У меня ощущение, будто я желала, чтоб кто-то вовремя умер, чтобы спасти Виду. Кто-то безымянный, безликий. А ведь она не была такой. Она была вашей женой, и вы любили ее.

Я сделал глубокий вдох. Сказать правду, совсем не выглядело справедливым то, что я должен спасать Абигейл, а не наоборот.

Я тщательно обдумывал фразы, говорил осторожно. К тому же, как заметил, медленно. Словно был обязан быть точным.

– Лорри погибла потому, что дорога была скользкая и она скатилась с нее. Еще потому, что место, где она соскользнула с дороги, находится на седловине холма на краю крутого обрыва. Вовсе не потому, что вы чего-то там желали. Без обид, Абигейл, но вы не настолько могущественны.

Я умолк, чтобы посмотреть, не обиделась ли она. Вместо этого она выглядела обнадеженной.

– Вы, значит, клоните к тому, что чувствовать за собой вину я не должна.

– Не мое дело указывать, как вам себя чувствовать. Но, смею вас уверить, в действительности нет ничего, что могло бы вызвать у вас чувство вины.

Абигейл глубоко вздохнула и улыбнулась. И тогда я понял: она получила то, за чем пришла.

– Вы, значит, для этого хотели повидаться со мной, – сказал я.

– Частично. Еще я хотела задать вам вопрос.

Я крепился. Молился, чтоб это не оказалось тягостно.

– Хорошо.

– Почему вы пошли на донорство?

– Разве не всякий поступил бы так же?

– О, Бог мой, нет! Вы даже представить себе не можете, мистер Бейли. Ричард. Не можете даже представить, сколько людей предают земле совершенно здоровые органы, когда кто-то в их семьях умирает. Иногда даже вопреки пожеланиям самого человека. Когда ваш ребенок лежит на больничной койке при том, что жить ей осталось, может быть, всего несколько дней, это ввергает в невероятное огорчение. Даже выразить не могу, насколько это огорчает. Это не давало мне покоя днями напролет, я настолько выходила из себя, что не могла спать.

– Полагаю, это форма неспособности выбросить что-то из головы, – сказал я.

– Почему вы пошли на донорство?

Я припал губами к чашке с кофе. Устроил представление: мол, выторговываю время на обдумывание. Если по правде, то этого я еще ни разу словами не выражал.

– Я полагал, что это не окажется так уж бесполезно.

Абигейл кивнула и ничего не сказала.

– Нет, подождите, – сказал я. – Я знаю. Только что до меня дошло. Знаю, почему я согласился на донорство. Я хотел, чтобы люди никогда не забыли ее. Как можно больше людей. А так я думал: вы никогда не забудете ее, и Вида не забудет. И любой, кто любит Виду. И женщина в Тибуроне, в Калифорнии, которой достались роговицы Лорри, она никогда не забудет, как и ее семейство и все, кто любит ее. И я мог бы и другие органы передать, только… Я хотел, чтобы как можно больше народу думало о Лорри всегда и постоянно. А не просто пережили – и забыли.

Абигейл завозилась на высоком стуле.

– Уж я-то ее точно никогда не забуду, – сказала она.

– Разве это плохой повод?

– Не существует плохих поводов. Что бы ни двигало людьми пойти на донорство, это большое дело.

Затем наступило неловкое молчание.

Абигейл допила чай, и я уж совсем было собрался дать понять, что мне пора идти.

– Вида по-настоящему жаждет еще раз увидеться с вами, – заговорила она. – Не знаю, как вы отнесетесь к еще одному посещению.

– Я тоже не знаю, как отношусь к новому визиту.

– Возможно, она уже завтра днем приедет домой.

– Может быть, я навещу ее утром. При одном условии. Если вы все время будете находиться в палате.

Она попыталась найти ответы на моем лице, но я ничем себя не выдал. «Вы не хотите знать», – думал я.

– Порой с ней затруднительно, – признался я.

К моему удивлению, Абигейл рассмеялась, заметив:

– С ней большинству людей трудно.

– А-а. Хорошо. Есть в ней сила, которая… как бы…

– Она очень напориста.

– Да. Полагаю, именно так. Напориста.

– Буду там все время.

Я согласился попытаться преодолеть себя и нанести визит.

Я определенно не давал обещания.

Дорогая Майра,

Лорри была застенчивым ребенком? Почему она смотрит в пол на стольких снимках? Она была такой уверенной в себе, когда я ее встретил. Такой спокойной. И стойкой. Так отличалась от меня. Я все время терялся, а она всегда мне помогала.

Думаю, это одно из тех ее достоинств, за которые я так любил Лорри. По-моему, в ее присутствии у меня возникало желание расслабиться, потому что она умела все держать в руках.

Мы немного поменялись ролями, полагаю. Но меня это, честно говоря, не заботило. Я не помешан на гендерных стереотипах.

Кстати, об обмене ролями, вот еще один.

Прежде я этого никогда никому не говорил. Без всякой причины. В этом нет ничего предосудительного. Просто это то, о чем не говорят. Это то, что просто делают.

У Лорри был крепкий сон, и она всегда спала всю ночь напролет. Я просыпался через определенные промежутки времени, но, даже если я вставал в туалет, выпить стакан воды или молока, она никогда не просыпалась.

Вот порой я и укладывался головой ей на грудь и слушал, как бьется ее сердце. Лорри всегда спала на спине, и тяжесть моей головы, похоже, не доставляла ей

никаких неудобств. Вот я и слушал.

В общем-то, даже не знаю толком зачем. Было в этом что-то утешающее.

Если разобраться, так у меня до сих мысли не возникало, будто Лори знала, что я проделывал такое.

Короче, полагаю, говорю я сейчас о том… О чем я говорю?

Полагаю, говорю я о давних и долгих личных отношениях с сердцем Лорри.

Помогает ли это хоть что-то разъяснить? Надеюсь, да.

Должно помочь.

Большой привет.

Ричард

P.S. Сегодня перечитывал нашу давнюю переписку по электронной почте. И понял, что я уклонился от ответа. Сделал это, думаю, не намеренно. А, черт, само собой, намеренно. Просто неосознанно. Вы спросили, почему я не отправился в Тибурон заглянуть в глаза той пожилой женщине. Но потом стали рассказывать о снимках, и это отвлекло меня. Только, полагаю, я сам хотел того же.

Как бы то ни было, если честно, то ответа нет. Я действительно понятия не имею. Если бы я не отвлекся, то сказал бы что-нибудь вроде: «Отличный вопрос, черт возьми!»

Может быть, это потому, что у меня никогда не было личного общения с глазами Лорри, когда она спала.

Ричард, дорогой,

по-моему колледж очень сильно изменил Лорри. Пока она жила дома, то все время пребывала в тени сестер. У них были сильные характеры. Такой же, полагаю, был и у Лорри. Но к тому времени, когда она подросла, они уже поднабрались опыта. Получилось, что она не могла с ними тягаться.

Но в то же время она была наделена силой, которая отличала ее.

Было такое ощущение, будто в ту минуту, когда она покинула дом и стала жить самостоятельно, она сделалась самой сильной из трех. Она словно бы копила силу. Словно она всегда была наделена силой, просто ждала, когда пустить ее в ход.

Всегда забываю, что ты не знал ее, пока ей не перевалило за двадцать.

Жаль, что не посвятила тебя в то, что ты пропустил.

Любящая тебя

Майра

P.S. Береги себя, Ричард. Я беспокоюсь за тебя.

Дорогая Майра,

а что, если Вида курит?

Почти всю вчерашнюю ночь я не спал. Задремал было на полчасика, а потом проснулся и принялся думать: нет никакого способа увериться в том, что Вида хорошо заботится о сердце. Что, если она курит или не ест ничего, кроме сильно прожаренной пищи?

Я не затем отдал сердце, чтобы с ним плохо обращались.

Но потом пролежал весь остаток ночи без сна, потому как понимал: даже если она плохо заботиться о сердце, я с этим ничего поделать не могу.

Считаете ли вы это нормальной озабоченностью? Или я и на самом деле перегибаю палку?

Клянусь, я больше сам не могу понять.

От этого страшно.

С любовью,

Ричард

P.S. Я тоже за себя беспокоюсь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26915644&lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Соответственно чуть больше 147 и 152 см. – Здесь и далее примеч. перев.

2

Worry Stone, буквально: «камень беспокойства» (англ.), но еще древние греки использовали гладко обточенные морскими волнами камни особой формы с выемкой под большой палец как средство утешения. Сейчас его изготавливают из разных камней: поделочных, полудрагоценных и даже драгоценных. Считается, что стоит мягкими, плавными движениями большого пальца потереть бороздку камня, как негативная энергия сразу покидает душу и тело, приходит утешение.

3

Процедура Норвуда – трехступенчатая операция на сердце для больных с гипопластическим левым сердечным синдромом. Целью процедуры является подключение отдельного желудочка к кровообращению всего организма. При этом для кровоснабжения легких необходимо создать альтернативный путь.

4

То есть 8 на 10 дюймов, или 20 на 25 см.

5

Загадочный и мистический дом, самая известная достопримечательность городка Сан-Хосе (Калифорния, США). В 1884 году дом был приобретен Сарой Винчестер, вдовой Уильяма Винчестера, сына Оливера Винчестера, изобретателя знаменитой винтовки. После смерти мужа Сара съездила в Бостон к медиуму, который «пообщался с духом ее покойного супруга». Дух усопшего якобы сообщил, что злоключения Сары (смерть единственной дочери вскоре после рождения, относительно ранняя смерть Уильяма) связаны с тем, что на семье лежит проклятие погибших от винтовки, созданной Оливером. Дабы избежать дальнейших проблем, женщина должна была построить особый дом, в котором духи не смогут навредить ей.

Купить: https://tellnovel.com/ru/ketrin-hayd/moe-chuzhoe-serdce-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить